

Ефим Гранитов

ЧУЖАЯ ШИНЕЛЬ



18+

Ефим Гранитов

Чужая Шинель

«Автор»

2026

Гранитов Е.

Чужая Шинель / Е. Гранитов — «Автор», 2026

Январь 1945 года. Восточная Пруссия горит, по дорогам на запад тянутся обозы беженцев, а фронт идёт быстрее, чем люди успевают бежать. Лейтенант-разведчик Андрей Лукин, до войны учитель немецкого, уходит за линию фронта в шинели убитого унтер-офицера. Его задача — добыть схему минирования мостов, которую немецкий инженер Отто Фальке хранит только в голове. Фальке ставит условие: схема в обмен на место в поезде для его десятилетней племянницы. Но поезд разбит налётом, и путь на запад остаётся один — по льду залива, под бомбами, мимо полевых жандармов, которые вешают по инструкции. Чем дальше идёт эта «ложная семья», тем меньше Лукин уверен, кто здесь враг. И тем дороже обходится каждое спасённое имя. Роман о войне, где у каждого чужая роль, и о том, можно ли остаться человеком, выполняя задание, в котором людей полагается видеть только средством.

© Гранитов Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Чужое имя	5
Глава 1. Нейтральная полоса	11
Глава 2. Город без мужчин	18
Глава 3. Дом, дерево, солнце	26
Глава 4. Условие	34
Глава 5. Молитва во сне	41
Глава 6. Обоз	48
Глава 7. Мальчик с фаустпатроном	56
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Чужая Шинель

Пролог. Чужое имя

Дыра была под левой лопаткой, аккуратная, с рваными краями, вывернутыми внутрь. Лукин просунул в неё палец, потом два. Сукно вокруг затвердело и потемнело, как кора.

— Застирать бы, — сказал старшина Гуськов, не поворачиваясь от печки. — Холодной водой. Горячей кровь не берёт.

— Застирывали.

— Значит, плохо застирывали.

Лукин не стал спорить. Он сидел на перевёрнутом ящике из-под мин, шинель лежала у него на коленях, тяжёлая, как мокрая собака, и пахла чужим: табаком, который в Красной Армии не курили, кислым ружейным маслом и ещё чем-то сладковатым, лекарственным. Унтер-офицер Карл Штайнер умер позавчера в медсанбате, не приходя в сознание. Пуля вошла ему в спину, когда он бежал от разведчиков через замёрзшую канаву, и вышла бы из груди, если бы не ребро. Ребро её остановило. Хирург потом сказал, что лучше бы не останавливало.

Нитка нашлась только белая. Лукин зачернил её химическим карандашом, послунявив грифель, и теперь шил мелкими стежками, через край, как когда-то шила мать, штопая ему штаны на коленях. Мать говорила: «Ты, Андрюша, не тяни, ты прихватывай». Он прихватывал.

В сарае было тепло и темно. С потолочной балки свисали пучки какой-то травы, оставшиеся от хозяев, и связка лука, которую никто не трогал, потому что лук был немецкий, а немецкого с первого дня на этой земле боялись больше, чем мин. Говорили, что отравлен. Ничего не было отравлено. Лукин это знал, потому что третий день читал трофейные бумаги, и в бумагах не было ни слова о луке. Были ведомости на овёс, приказы о расстрелах за мародёрство, письма с фронта, которые не успели отправить. Одно, неоконченное, начиналось словами «Моя дорогая Хильда, сегодня я снова видел журавлей». В январе журавлей не бывает. Значит, писал давно, носил с собой, не отправлял. Почему — уже не узнать.

Он затянул узел, перекусил нитку и посмотрел на работу. Шов лёг ровно, но выделялся: сукно вокруг было бурым, а шов чёрным. Издалека не видно. Вблизи — если кто-то будет рассматривать его спину вблизи, значит, дело уже не в шве.

— Лейтенант Лукин! — крикнули от двери. — К майору!

* * *

Штаб разведотдела помещался в господском доме польского фольварка, который немцы пять лет называли каким-то своим именем, а теперь он опять стоял без имени: таблички с ворот кто-то снял, а новую ещё не повесили. В прихожей лежала груда трофейных шинелей, и на стене висели олени рога с наколотыми на них записками. Пахло сургучом и мокрыми валенками.

Майор Сафронов сидел за столом у окна, на котором вместо занавески висела плащ-палатка. Перед ним лежала карта, придавленная по углам гильзами, и стоял стакан чая в подстаканнике с выпуклым паровозом. Подстаканник Сафронов возил с собой с сорок первого года. Говорили, что из дома. Сам он не говорил.

У печки, спиной к теплу, сидел незнакомый капитан — худой, с длинными руками, с аккуратным пробором, будто только что из парикмахерской. На коленях у него лежала полевая сумка, и он держал на ней обе ладони, как держат на столе руки в гостях, чтобы не подумали, что ты их прячешь.

— Садись, Андрей Николаевич, — сказал Сафронов. — Это капитан Горбунов. Из особого отдела. Он посидит.

Горбунов кивнул. Лукин кивнул в ответ и сел.

— Шинель зашил?

— Так точно.

— Покажи потом. — Сафронов придвинул к себе папку и раскрыл её, но смотреть в неё не стал. Он знал, что там. — Значит, так. Наступление идёт, ты знаешь. Идёт быстро, быстрее, чем мы думали, быстрее, чем немцы думали. Через неделю, может, через две, будем у залива. Дальше Кёнигсберг, Эльбинг, Мариенбург. Дальше Висла. — Он провёл ногтем по карте, и ноготь споткнулся о гильзу. — Везде мосты. Железнодорожные. Немцы их заминировали ещё летом. Не все, но много. Взорвут — будем стоять. Будем стоять — будем терять людей. Сколько — считай сам. Ты у нас учитель.

— Учитель немецкого, товарищ майор.

— Неважно. Арифметику знаешь.

Он перевернул в папке лист.

— Есть человек. Отто Фальке, пятьдесят два года, железнодорожный инженер, служба пути. Член партии. Готовил мосты к подрыву. Не взрывал — это сапёры, — а готовил: где шурфы, где заряды, как проводка идёт, где подрывные станции. Голова. Вот такая голова. — Сафронов показал руками, какая, и вышло что-то вроде арбуза. — Про него рассказал пленный, капитан железнодорожных войск, взяли на прошлой неделе под Млавой. Говорит, все схемы по линиям на Кёнигсберг и по Ногату с Вислой шли через Фальке. И говорит ещё, что Фальке с начала января бумаги свои из управления забрал. Все. Капитан думает — увёз. Я думаю — сжёг.

— Почему?

— Потому что я бы сжёг. — Сафронов наконец посмотрел на Лукина. — Если бы я знал, что за мной придут, я бы сжёг и держал в голове. Тогда я нужен. Без меня — ничего.

Горбунов у печки чуть пошевелил пальцами на сумке, но промолчал.

— Где он? — спросил Лукин.

— Городок Вальдхайм. Вот. — Палец уткнулся в точку южнее Кёнигсберга, где между двумя ниточками железной дороги петляла речка. — Жил в Кёнигсберге, после августовских бомбёжек переведён туда, на дистанцию. Там мост, тоже его. Живёт один. Нет, не один. С ним девочка, племянница. Сирота.

— Сколько лет девочке?

— Пленный не знает. Маленькая.

Лукин кивнул. Девочка была маленькая. Это ничего не меняло и что-то меняло, и он не стал думать, что именно.

— Задача: взять Фальке. Привести сюда. Если не выйдет — взять бумаги, если они есть. Если и бумаг нет... — Сафронов помолчал. — Если бумаг нет, значит, бумаги у него в голове. Голову надо привести. Целую.

— Пятьдесят два года, — сказал Лукин. — Через линию фронта. С ребёнком?

— Без ребёнка.

Слово упало на стол и легло там, рядом с гильзами.

— Понял, — сказал Лукин.

* * *

Сафронов вынул из папки солдатскую книжку — серую, засаленную, с орлом на обложке, — и протянул через стол. Лукин раскрыл. С фотографии смотрел парень лет двадцати с

небольшим: оттопыренные уши, белёсые брови, пилотка набекрень. Похож был не очень. Но фотографии в солдатских книжках никогда не бывают похожи, а этой было уже четыре года.

Штайнер, Карл. Унтер-офицер. Родился 3 марта 1917 года, Хайдекруг.

— Хайдекруг, — сказал Лукин. — Мемельский край.

— Вот, — сказал Сафронов с удовольствием, будто Лукин решил задачу у доски. — Вот поэтому он. Ты мне сам говорил: у тебя немецкий книжный. Читаешь как немец, говоришь как профессор. Мемельские — они там половина литовцы, говорят как бог на душу положит. Акцент простят. Обороты простят. Скажешь: мать литовка, отец немец, в школе учили по Гёте. Поверят.

— Мать у него литовка?

— Откуда я знаю. Теперь — литовка.

Лукин перелистал книжку. Прививки, выдача обмундирования, ранение в сорок третьем под Невелем, Железный крест второй степени. Отпуск в сорок четвёртом, в мае. Ездил домой, в Хайдекруг. Дома, должно быть, ждала мать, литовка или нет. Сейчас Хайдекруг уже был наш, взят ещё в октябре, и если у Штайнера кто-то там оставался, этих кого-то уже не было или они были где-то в колонне на дороге, которой Лукин не знал.

— Легенда такая, — продолжал Сафронов. — Штайнер после госпиталя догоняет часть. Часть разбита, где — неизвестно. Сейчас у немцев таких тысячи. Ходят, ищут, кто где. Хватают их, конечно, жандармы. Тех, кто идёт на запад, — вешают. Ты иди на север.

— А Фальке?

— А Фальке скажешь, кто ты. — Сафронов пожал плечами. — Сам решишь, когда. Ты его увидишь. Мы — нет.

Тогда Горбунов впервые заговорил. Голос у него был тихий, ровный, без нажима.

— Лейтенант, — сказал он, — вы где немецкий учили?

— Смоленский педагогический, товарищ капитан. Факультет иностранных языков. Тридцать девятый год выпуска.

— А до института?

— В школе. У нас в Починке была учительница из немцев Поволжья. Эмма Карловна.

— Где она сейчас?

Лукин помолчал.

— Не знаю. В сорок первом её выслали.

— Вы с ней переписывались?

— Нет.

Горбунов кивнул, как будто услышал то, что и ожидал, и снова положил ладони на сумку. Больше он ничего не спросил. Но Лукин почувствовал, как в комнате что-то сдвинулось, — так, бывает, в классе чувствуешь, что кто-то сзади передал записку, хотя никто не шевелился.

— Товарищ капитан из особого отдела потому и сидит, — сказал Сафронов, — что задание за линию. Порядок. Порядок такой, Андрей Николаевич.

— Я понимаю.

— Ну и хорошо, что понимаешь. — Сафронов отхлебнул чай и поморщился: остыл. — Пойдёшь с Хомяковым. Он поведёт через передний край, у него глаз. Рация у него. Связь раз в сутки, в двадцать три ноль-ноль, позывной «Береза». Если связи нет двое суток — действуй по обстановке. Выходи к своим. С Фальке, без Фальке, с бумагами, с головой. Как сможешь.

— Если Фальке не пойдёт?

Сафронов поставил стакан. Паровоз на подстаканнике блеснул.

— Пойдёт, — сказал он. — Ты его уговоришь. Ты же учитель.

* * *

Хомяков ждал во дворе, у колодца. Он сидел на корточках, курил в кулак и смотрел в небо, где низко, почти задевая трубу господского дома, шли облака, тяжёлые, жёлто-серые, полные снега.

— Сыпанёт к ночи, — сказал он, не вставая. — Это хорошо. Следов не будет.

Сержанту Петру Ильичу Хомякову было тридцать шесть лет, и он воевал с первого дня, если не считать Финской, которую он не считал. Он был из-под Вологды, из деревни, где все мужики умели две вещи — валить лес и молчать. Он умел обе. В разведке Хомяков служил с сорок второго года, ходил за линию раз сорок, может, больше, — он не считал и это. Говорил медленно, окая, и всякое дело делал так, будто впереди у него было ещё лет сто.

— Майор сказал, ты поведёшь, — сказал Лукин.

— Ну.

— Рация у тебя.

— У меня. — Хомяков похлопал по вещмешку, стоявшему у ног. Мешок был тяжёлый и угловатый. — «Северок». Ничего, исправный. Батареи новые, сам смотрел.

— Где пойдём?

— Там, где прошлой ночью ходили. Знаю место. Лес, потом поле, потом опять лес. Немец там жидкий, он отходит. У него сейчас голова не тем занята.

Он докурил, растёр окурочку о сруб колодца, потом аккуратно спрятал его в карман шинели — своей, нашей, с прожжённой полкой.

— Ты по-ихнему, значит, совсем как они? — спросил он.

— Почти.

— Почти — это плохо. — Хомяков встал, кряхтя. — У нас в деревне был мужик, почти что плотник. Срубил избу почти что ровно. Она почти что и стоит до сих пор.

Лукин засмеялся. Смех вышел короткий и сам удивил его.

* * *

Собирался он в том же сарае, при коптилке. Свою гимнастёрку, свои сапоги, своё бельё он сложил в вещмешок и отдал старшине Гуськову, и Гуськов написал на мешке химическим карандашом: «Лукин А. Н. Не трогать». Подумал и приписал: «Вернётся».

Немецкое бельё было серое и колючее. Немецкий китель — узковат в плечах. Сапоги Штайнера оказались велики на размер, и Гуськов принёс две пары шерстяных носков, вязаных, тоже немецких, с вышитыми на голенищах буквами «M. S.» — кто-то в Германии вязал их Штайнеру или другому, чьи буквы были «M. S.», и посылал на фронт, и думал о нём, когда вязал. Лукин надел оба носка и сапоги сели как надо.

Потом он разложил на ящике всё, что останется при нём.

Солдатская книжка Штайнера. Немецкие деньги, рейхсмарки, мятые, около ста. Письмо от какой-то Лотты из Тильзита — Штайнеру, на случай, если будут проверять карманы, и Лукин перечитал его дважды, чтобы помнить, о чём там: про кошку, которая окотилась, и про то, что хлеба опять дают меньше. Карманный нож с костяной рукояткой. Портсигар, пустой. Пистолет — «вальтер», не наш ТТ: немецкий унтер-офицер с ТТ — это конец всему сразу. Две запасные обоймы. Фляга со шнапсом. Компас — тоже немецкий.

И планшет. Планшет был свой, советский, и его Лукин не хотел брать, а Гуськов не хотел отдавать, потому что не положено, но в конце концов они договорились, что планшет немецкий, офицерский, трофейный, и что на нём нет ни одной русской буквы. Лукин сам срезал с него бирку. В планшет он положил карту — немецкую, двадцатипятипятисотную, с пометками, которые сделал сам немецким почерком, — и между картой и кожей, в самый угол, положил платок.

Платок был синий, в белый горошек, ситцевый, выцветший на сгибах почти до белизны. Таня носила его летом, повязывала под косу, когда шла на речку. Платок прислала Дуся Пахомова, соседка, в сорок третьем, вместе с письмом. Письмо было на двух листках из школьной тетради в клетку, и Лукин его больше не перечитывал. Он помнил его наизусть, но не перечитывал. А платок возил с собой. Платок пах ничем. Сначала — тем сундуком, где Дуся его хранила, потом махоркой, потом планшетом. Тани в нём не осталось ни капли. Он всё равно возил.

— Это что? — спросил Гуськов, кивая на угол планшета.

— Ничего.

— Если найдут — что скажешь?

Лукин подумал.

— Скажу, у девушки взял. У польки. На память.

Гуськов покачал головой, но ничего не сказал.

* * *

Последней Лукин надел шинель.

Он держал её в руках, глядя на чёрный шов на спине, и медлил — секунду, может, две. Потом просунул руку в рукав. Рукав был холодный, хотя шинель весь вечер пролежала у печки, и холод пошёл от запястья к локтю, как вода. Вторая рука. Он запахнулся, застегнул пуговицы, одну за другой, сверху вниз, затянул ремень. Шинель легла по плечам почти точно, только в поясе была чуть широка. Штайнер был крупнее. Или просто сытнее.

Гуськов отошёл к двери и посмотрел на него оттуда, сощурившись.

— Ну, — сказал он наконец, — фриц.

— Похож?

— Похож. — Старшина поскрёб щетину. — Только смотришь не так.

— А как надо?

— Не знаю. Не так.

Лукин надел пилотку, потом поверх неё — подшлемник, потом каску. В каске было холодно, как в погребке. Он вспомнил, что так и не спросил у Сафронова одну вещь, и тут же понял, что спрашивать не будет. Он хотел спросить, что будет с девочкой, если он уведёт Фальке. Племянницей. Сиротой. Сафронов сказал: без ребёнка. Значит, Сафронов уже ответил.

В дверях появился Хомяков — в маскхалате, с автоматом на груди, с вещмешком за спиной, с белой тряпкой на каске.

— Пора, — сказал он. — Снег пошёл.

Лукин накинул сверху свой маскхалат, белый, мятый, пахнувший хлоркой. Под маскхалатом шинель Штайнера стала невидимой, и он вдруг почувствовал облегчение, будто снял с себя чужое лицо. Ненадолго. До линии.

Они вышли. Во дворе было белым-бело, и снег падал отвесно и густо, без ветра, и в этом снегу гасли все звуки — урчание мотора у ворот, голоса часовых, далёкий, но непрерывный гром на северо-западе, где шёл бой. Сафронов стоял на крыльце без шапки, держа в руке стакан с паровозом. Рядом с ним, чуть позади, стоял Горбунов.

— Береза, — сказал Сафронов. — В двадцать три ноль-ноль.

— Есть.

— Иди, Андрей Николаевич.

Лукин козырнул. Горбунов ничего не сказал и не козырнул, а только посмотрел на него — не в лицо, а ниже, на полу шинели, торчавшую из-под маскхалата. Серо-зелёное немецкое сукно на белом. Лукин одёрнул халат, и сукно скрылось.

Они пошли к воротам, и снег сразу начал заметать их следы. На воротах не было таблички. На столбе остались четыре дырки от гвоздей, и в одну из них кто-то воткнул еловую веточку.

— Ты как теперь называешься? — спросил Хомяков, когда они вышли за ворота.

— Карл, — сказал Лукин. — Карл Штайнер.

— Карл, — повторил Хомяков, словно пробуя слово на зуб. — Ну, Карл так Карл. А я тебя всё равно Андреем звать буду. Пока можно.

— Пока можно, — сказал Лукин.

У поворота он оглянулся. Фольварк уже почти пропал в снегу, остались только жёлтое окно с плащ-палаткой и крыльцо под фонарём. Сафронова на крыльце не было. Горбунов стоял один, поставив ногу на ступеньку, и писал что-то в блокноте, положив его на колено. Писал недолго — одну строчку, может, две. Потом закрыл блокнот, убрал его в сумку и ушёл в дом, и фонарь над крыльцом погас.

— Не оглядывайся, — сказал Хомяков. — Примета плохая.

— Я не суеверный.

— А я суеверный, — сказал Хомяков. — Потому и живой.

Глава 1. Нейтральная полоса

Хомяков полз, как плывут: руками вперёд, раздвигая снег, и снег смыкался за ним почти бесшумно. Лукин полз следом, в его борозде, и считал.

Сорок два. Сорок три. На сорок четвёртом Хомяков замер, и Лукин замер тоже, уткнувшись лицом в рукав. Где-то справа хлопнула ракетница, и над полем повисла зеленоватая звезда, медленно, нехотя опускаясь на парашютике. Снег вокруг стал зелёным, как бутылочное стекло. Лукин видел перед собой подошвы Хомякова с налипшими комьями, видел край маскхалата, а дальше, шагах в десяти, — что-то тёмное, большое, торчащее из снега горбом. Ракета опустилась ниже, и горб превратился в лошадь. Лошадь лежала на боку, задрав к небу ноги с подковами, и подковы блестели. Брюхо у неё было разорвано, и из брюха на снег что-то вывалилось и замёрзло, и оттуда шёл слабый пар — или Лукину только показалось, что пар.

Ракета погасла. Стало черно, черней, чем до неё.

Хомяков пополз дальше. Сорок пять.

Снег сыпал третий час, мелкий, сухой, и ложился на спину ровным слоем, так что через полчаса неподвижности человек превращался в сугроб. Это было хорошо. Плохо было то, что под свежим снегом лежал наст, и наст хрустел. Хомяков полз так, чтобы локти не продавливали корку, а ложились на неё плашмя, всем предплечьем, и Лукин старался делать так же. У него не получалось. Каждые несколько метров наст под ним проламывался, и звук был такой, как если бы кто-то раскусил сахар.

Шестьдесят. Шестьдесят один.

Немецкая траншея появилась внезапно — чёрная щель поперёк поля. Хомяков перевалялся через бруствер и исчез. Лукин последовал за ним и ухнул вниз, на дно, на что-то мягкое. Мягкое оказалось шинелью. В шинели никого не было. Её просто бросили — серо-зелёную, такую же, как та, что на нём под маскхалатом. Рядом валялась каска, котелок, пустой ящик из-под патронов, газета. Траншея была пуста в обе стороны, насколько хватало глаз. Где-то дальше по ней скрипело на ветру что-то железное.

— Ушли, — сказал Хомяков в самое ухо, одним дыханием. — Вчера ещё сидели. Сегодня ушли.

— Далеко?

— А кто их знает. Не любят они теперь сидеть.

Он поднял газету, поднёс её к самым глазам, понюхал зачем-то и бросил.

— Читать будешь?

— Нет.

— А чего там?

Лукин наклонился. Было слишком темно, но крупные буквы заголовка проступали.

— Пишут, что будут держаться до последнего.

— Ну-ну, — сказал Хомяков и полез из траншеи наружу.

* * *

Лес начался через восемьсот шагов. Лукин считал их все, потому что счёт держал голову в порядке. Когда считаешь, не думаешь. Когда не думаешь, не боишься. Этому его никто не учил, он додумался сам, ещё в сорок втором, под Ржевом, когда в первый раз лежал под миномётным огнём и считал разрывы, и насчитал сто семнадцать, и на сто восемнадцатом огонь кончился. С тех пор он считал всё: шаги, ступеньки, патроны, дни. Сколько дней от письма Дуси до сегодняшнего вечера — четыреста девяносто один. Это он тоже знал, хотя никогда не

пересчитывал специально. Цифра просто была в голове, как в часах бывает число на циферблате.

В лесу было тише и темнее. Ели стояли плотно, снег лежал на лапах тяжёлыми пластами, и время от времени какой-нибудь пласт срывался и падал с глухим шорохом, и Лукин каждый раз вздрагивал, а Хомяков — нет. Они шли теперь в рост, но медленно, обходя бурелом, и Хомяков вёл, не глядя на компас, как будто под ногами у него была протоптанная тропа.

Около одиннадцати он остановился у большой воронки — старой, может, с четырнадцатого года, оплывшей, заросшей молодыми ёлками. На дне было сухо, хвоя, снега почти нет.

— Здесь, — сказал он. — Сеанс.

Он скинул вещмешок, развязал, вытащил рацию. Работал на ощупь, быстро, не снимая рукавиц. Вытащил антенну, закинул провод на ёлку, надел наушники. Лукин сидел рядом, привалившись к стенке воронки, и смотрел на светящиеся стрелки своих — штайнеровских — часов. Двадцать два пятьдесят шесть. Пятьдесят семь.

В двадцать три ноль-ноль Хомяков застучал ключом. Коротко: «Береза — Ольхе», пауза, ещё раз. Лукин слышал только писк в наушниках, тонкий, комариный, а потом Хомяков вдруг кивнул и застучал снова — длинно, ровно, отбивая заранее заученный текст: «Прошли тчк Всё в порядке тчк».

Писк в ответ. Хомяков записал что-то огрызком карандаша на ладони, прямо на коже, в темноте.

— Ну? — спросил Лукин.

— «Поняли, ждём». — Хомяков снял наушники. — Майор там сидит, у стола. Я его прямо вижу. С чаем.

— С паровозом.

— С паровозом, — согласился Хомяков и начал сворачивать антенну.

Они поели: хлеб, сало, по глотку из фляги. Хомяков пил из своей, Лукин — из штайнеровской, со шнапсом. Шнапс был сладкий, пах грушей. Лукин протянул флягу Хомякову, и тот отхлебнул, подержал во рту, проглотил и долго молчал.

— Слабая, — сказал он наконец. — И сладкая. Как они это пьют?

— Как лекарство, наверное.

— Ага. — Он вернул флягу. — Ты чего не женат? Я гляжу — молодой, а не женат.

Лукин не ответил сразу. В разведке о таких вещах не спрашивали. Но в разведке и не ходили обычно в немецкой шинели, и не сидели в воронке четырнадцатого года, и не пили грушевый шнапс.

— Был женат, — сказал он.

Хомяков кивнул. Больше спрашивать он не стал. Помолчал, потом сказал сам:

— А у меня девки. Три. Старшей — пятнадцать. Нюрка. Пишет мне, что на ферме работает, телят выхаживает. Пятнадцать лет — а телят. Средней двенадцать, младшей девять. Младшую я и не помню почти. Уходил — ей пять было. Она мне письмо прислала, сама написала, печатными. «Папа приезжай». Без запятой. Я ей ответил, что запятую надо ставить. Учитель! — Он тихо засмеялся. — Ты там скажи, если что. Как учитель. Надо там запятую?

— Надо, — сказал Лукин. — Перед обращением.

— Вот. А я как сказал? Правильно сказал.

Он закурил в кулак, втянув голову в плечи так, что огонёк спички спрятался в рукаве, и Лукин увидел на секунду его лицо — широкое, тёмное, с белыми ресницами, обросшими ином. Потом огонёк погас, остался только красный уголёк, прикрытый ладонью.

— Ты мне скажи, — проговорил Хомяков, выпуская дым вниз, себе под ноги. — Ты вот немца этого, инженера... ты его как поведёшь? Ему пятьдесят два, майор сказал. Я в пятьдесят два, может, и сам уже не поползу. А тут через линию. Он побежит, или закричит, или сердце у него встанет. Что тогда?

— Не знаю.

— Не знаешь. — Хомяков подумал. — Это честно. А девчонку его куда?

— Майор сказал — без ребёнка.

— Майор сказал. — Хомяков затаился. — Майор у стола сидит. С паровозом.

Он больше ничего не сказал, и Лукин тоже. Над лесом гудело — далеко, на севере, мерно и непрерывно, как гудит в трубах ветер. Это шла артиллерия. Наша. Наступление.

* * *

Под утро снег кончился. Ветер разогнал облака, и небо стало чистым, огромным, в крупных звёздах, и сразу ударил мороз — такой, что воздух стал колючим и нос перестал чувствовать запахи. Лес поредел, пошли вырубki, потом поле, плоское, как стол, с одинокими ивами вдоль канавы. За полем, в километре, темнел хутор: дом под высокой крышей, сарай, колодезный журавль. Ни огонька.

— Обойдём слева, — сказал Хомяков. — Там изгородь, вдоль неё. Потом дорога. На дороге ты уже Карл, а я — уже нет.

Это тоже было оговорено заранее: Хомяков доводит до дороги, ждёт, пока Лукин уйдёт, и сам возвращается к лесу, где переждёт день, а следующей ночью пойдёт назад. С рацией. Рация оставалась у него, потому что немецкий унтер-офицер с советской рацией в мешке — это хуже, чем с ТТ. Связь Лукин должен был держать через Хомякова: тот будет ждать в лесу, у воронки, три ночи, каждую ночь в двадцать три часа, а если Лукин не придёт — уйдёт один. Это был плохой план. Других не было.

Они пошли вдоль изгороди. Изгородь была из жердей, старая, серая, местами поваленная. Хомяков шёл впереди, шагах в пяти. Снег здесь был неглубокий, по щиколотку, ветер выдул его с поля и намёл у жердей невысокие сугробы, гладкие, как подушки. Звёзды бледнели. На востоке, за лесом, прорезалась серая полоса.

Хомяков остановился у пролома в изгороди, повернулся и что-то сказал. Лукин не слышал. Он видел, как Хомяков поднял руку — указать ли на дорогу или поправить шапку, — и видел, как он сделал шаг, один шаг назад и вбок, на гладкую подушку сугроба у столба.

Потом Лукин лежал лицом в снегу и не слышал ничего.

Сначала не было звука. Был удар — не в уши, а во всё тело сразу, в грудь, в живот, в зубы, — и было белое, и было небо, которое почему-то оказалось сбоку. Потом пришёл звон, тонкий, высокий, на одной ноте. Лукин лежал и слушал звон. Он подумал: «Я лежу». Потом подумал: «Это мина». Потом подумал: «Хомяков».

Он встал на четвереньки. Руки слушались. Ноги тоже. Он ощупал лицо — мокрое. Посмотрел на рукавицу — снег, просто снег, не кровь. На маскхалате, на груди, чёрные точки — земля, мелкие комья мёрзлой земли, и ещё что-то тёмное, что он не стал рассматривать.

Столба не было. На его месте была воронка, неглубокая, с чёрными краями, и вокруг неё снег был не белым, а серым и рыжим, и от воронки тянуло кислым, горелым, тошным запахом тола. Жерди изгороди разметало в стороны.

Хомяков лежал в трёх шагах от воронки, на спине.

Лукин подполз к нему. Он полз и знал уже, ещё не доползя, — по тому, как Хомяков лежал. Живые так не лежат. У живых всегда что-то согнуто, подобрано, что-то держится. У Хомякова не держалось ничего. Он лежал раскинувшись, как ребёнок во сне, и лицо у него было спокойное и целое, только белые ресницы стали тёмными, и в усах блестело что-то красное. Ниже пояса Лукин не смотрел. Он посмотрел один раз, мельком, и больше не смотрел.

Он снял рукавицу и положил руку Хомякову на шею, под подбородок, где должно стучать. Там было тепло и тихо.

Звон в ушах начал стихать, и сквозь него пробился другой звук: где-то далеко, за хутором, залаяла собака. Потом ещё одна. Потом хлопнула дверь.

Лукин сидел на коленях над Хомяковым и смотрел на хутор. На хуторе было темно. Собаки лаяли. Больше ничего не происходило. Никто не бежал, никто не кричал, никто не стрелял. Может быть, на хуторе не было никого, кроме собак. Может быть, там сидели люди и боялись выйти, потому что взрыв на рассвете в январе сорок пятого года мог значить что угодно. Мог значить, что русские уже здесь.

Мина была немецкая, противопехотная, деревянная или стеклянная — такие ставили вдоль изгородей и у колодцев, на подходах, без всякой системы, по одной, по две, на всякий случай. Их не наносили на карты. Их ставили отступающие, торопясь, и забывали о них через минуту. Эту поставили, может, вчера. Может, в октябре, когда фронт был здесь в первый раз. Её ставил какой-нибудь сапёр с мёрзлыми пальцами, который думал о горячем супе, и он не знал, что поставил её на Петра Ильича Хомякова из-под Вологды, у которого три дочери и младшая не ставит запятых. Никто этого не знал. Это была случайная мина. Она лежала здесь одна на сто метров изгороди, и Хомяков, который сорок раз ходил за линию и был суеверный, потому и живой, наступил на неё, отступив на один шаг назад и вбок, чтобы что-то сказать.

Лукин так и не узнал, что он хотел сказать.

* * *

Вещмешок с рацией лежал в стороне, отброшенный взрывом. Лукин подобрал его и развязал. Корпус «Северка» треснул по углу, крышка отошла, внутри что-то звякнуло, когда он потряхнул. Он открыл крышку. Лампы были побиты. Одна, вторая. Шкала настройки разбита, стрелка погнута. Из пробоины в боку торчал кусок жерди с острым концом. Батареи были целы — новые, Хомяков сам смотрел.

Он сел на снег и некоторое время держал рацию на коленях, как держат больную собаку.

Без рации он не мог связаться с Сафроновым. Без рации, без Хомякова, которому было бы её нести, без воронки, у которой Хомяков ждал бы три ночи, — без всего этого план, плохой план, перестал существовать. Оставалось то, что Сафронов сказал на прощание: если связи нет двое суток — действуй по обстановке.

Обстановка была такая: рассвет, мороз, хутор с собаками, мёртвый сержант и он, Лукин, в белом маскхалате поверх немецкой шинели, посреди поля, в восемнадцати километрах от линии фронта, если линия фронта ещё была там, где он её оставил.

Он вытащил из рации батареи и забросил их в канаву, в снег, как можно дальше. Потом разбил рукояткой «вальтера» то, что ещё оставалось целым в корпусе, — шкалу, переключатели, остатки ламп. Корпус отнёс к воронке и засыпал землёй, мёрзлыми комьями, выбитыми взрывом. Работа заняла десять минут. Он считал секунды и сбивался.

Потом вернулся к Хомякову.

Земля была мёрзлая на полметра. Копать нечем. Лукин стянул с Хомякова маскхалат — это было трудно, тяжело, тело уже начинало деревенеть, а руки не слушались — и свернул его. Без маскхалата Хомяков в нашей шинели с прожжённой полкой лежал на снегу тёмным пятном, и его было видно отовсюду. Лукин стал сгребать на него снег. Руками, рукавицами, потом прикладом автомата Хомякова, как лопатой. Снег был сухой, рассыпчатый, плохо держался. Лукин сгребал его с поля, от изгороди, отовсюду, и насыпал, и прихлопывал ладонями, как в детстве, когда лепили крепость. Через двадцать минут на месте Хомякова был длинный сугроб, чуть выше, чем другие сугробы вдоль изгороди. Если не знать — не заметишь. Если знать — заметишь сразу.

Он постоял над сугробом. Надо было что-то сделать ещё, и он не знал что. Снять шапку. Он снял каску, потом подшлемник, потом пилотку. Мороз схватил голову, как клещами. Он

постоял так, может, полминуты, без мыслей, просто стоял. Потом вспомнил, что во внутреннем кармане у Хомякова, в гимнастёрке, лежит письмо от младшей дочери — Хомяков говорил, что носит его с собой. Разведчики не носили с собой бумаг. Хомяков носил одно это. Можно было раскопать, достать, отправить потом. По какому адресу? Деревня под Вологдой. Названия Лукин не знал.

Он не стал раскапывать. Он надел пилотку, подшлемник и каску и пошёл от изгороди к канаве.

* * *

Автомат Хомякова и оба маскхалата он утопил в канаве, проломив лёд каблуком. Вода внизу была чёрная и медленная, и вещи ушли в неё неохотно, белое пятно ещё долго светилось подо льдом. Лукин прикрыл пролом снегом.

Теперь на нём была только шинель Штайнера.

Он стоял у канавы и чувствовал, как она на нём сидит — широкая в поясе, тяжёлая, с колючим воротником. Чувствовал шов под лопаткой. Под маскхалатом шинель была спрятана, и сам он был спрятан, а теперь его стало видно — серо-зелёного немецкого солдата посреди белого немецкого поля. Он подумал, что, если сейчас кто-нибудь выйдет с хутора и увидит его, этот кто-то увидит своего. Немца. Унтер-офицера. Может, крикнет ему что-нибудь, и он ответит, и это будет первое слово, которое он скажет здесь по-немецки, и это будет слово Штайнера, а не его.

Солнце встало. Красное, плоское, без лучей, оно повисло над лесом, и снег на поле стал розовым, а сугроб у изгороди отбросил длинную синюю тень. Лукин отвернулся от сугроба и пошёл к дороге. Он считал шаги. Он сбился на тридцать первом и начал заново.

Дорога шла с юга на север, обсаженная старыми липами, и уже на подходе к ней Лукин услышал её: скрип колёс, ржание, моторы, голоса. По дороге шли. Сначала он увидел обоз — три телеги, нагруженные ящиками, мешками и людьми в серых шинелях, сидевшими на мешках с поднятыми воротниками. Потом мотоцикл с коляской. Потом снова телеги, потом пеших — человек двадцать, без строя, кто с винтовкой, кто без, с замотанными в тряпки ногами. Все шли на север. Никто не шёл навстречу.

Он постоял в тени лип, у самой обочины, ещё полминуты. Сердце стучало в горле, и он нарочно стал считать удары. Шестьдесят. Семьдесят. На восьмидесяти он шагнул на дорогу.

Никто на него не посмотрел.

Это было первое, что его поразило. Он шёл по обочине в одну сторону со всеми, и люди вокруг него шли, и ехали, и ругались, и курили, и ни один не повернул головы. Они смотрели под ноги, или вперёд, в спину идущему впереди, или в никуда. Лица были серые, щетинистые, с красными веками. Один солдат шёл, держа на плече вместо винтовки лопату, и на лопате висел котелок. Другой вёл под уздцы лошадь, и лошадь хромала на заднюю ногу, и солдат время от времени останавливался, смотрел на эту ногу и шёл дальше. В телеге кто-то стонал — тихо, монотонно, на одной ноте, как звенело у Лукина в ушах час назад.

Он шёл с ними, и шинель Штайнера была такой же, как их шинели, и его каска была такой же, и его лицо, наверное, было таким же. Он подумал: «Они меня не видят, потому что я — это они». Потом подумал: «Нет. Они меня не видят, потому что никого не видят».

Через километр его догнала повозка — длинная фура, запряжённая парой тяжёлых бурых лошадей, с брезентовым верхом. На передке сидел фельдфебель, пожилой, с вислыми усами и с трубкой, в которой не было табака, и правил одной рукой, а другой держал у груди что-то завернутое в одеяло. Поравнявшись с Лукиным, он придержал лошадей.

— Эй, унтер, — сказал он. — Куда?

Слово было простое. «Wohin?» Лукин его знал. Знал всю жизнь, с первого класса, с первой страницы учебника Эммы Карловны, где была нарисована девочка с косичками, и девочка спрашивала мальчика: «Wohin gehst du?» — а мальчик отвечал: «Ich gehe in die Schule». Он открыл рот, и на секунду ему показалось, что сейчас он скажет: «Я иду в школу», — и засмеётся, и всё кончится.

— На север, — сказал он. — Часть догоняю. После госпиталя.

Голос прозвучал хрипло, но ровно. Слова вышли сами, короткие, простые, без единого лишнего оборота. Он заранее выучил эту фразу, повторял её про себя всю ночь, как стихотворение.

— Какая часть?

Лукин назвал. Фельдфебель махнул рукой.

— Нету такой части. Была, да вся вышла. Я сам из соседней. — Он сплюнул в снег и вынул изо рта пустую трубку. — Садись. Подвезу до развилки. Дальше сам.

Лукин забрался на передок, рядом с ним. Фура тронулась. Фельдфебель молчал, глядя на дорогу между ушами лошадей, и Лукин молчал тоже, и это было лучше любого разговора. Минут через десять одеяло на груди фельдфебеля зашевелилось, и оттуда высунулась голова. Голова была рыжая, с белым пятном на лбу, с острыми ушами. Котёнок. Он посмотрел на Лукина жёлтыми глазами, разинул розовую пасть и беззвучно мяукнул.

— На хуторе подобрал, — сказал фельдфебель, не поворачивая головы. — Позавчера. Там никого. Все ушли. Скотину бросили, коровы режут, недоенные. А этот сидел на крыльце. Кошка, видно, увела остальных, а этого не успела. — Он помолчал. — Я ему говорю: что же ты, дурак. А он мне: мяу.

Он сунул котёнка обратно под одеяло, и котёнок завозился и затих.

— Слышал взрыв утром? — спросил фельдфебель. — Там, за лесом.

— Слышал.

— Мина, наверно. Кто-то наступил. Или зверь. Тут косули ходят. — Он покачал головой. — Ставят где попало. Потом свои же и подрываются.

— Свои, — повторил Лукин.

— А кто ж ещё. Иваны тут ещё не ходили. Пока.

Фура скрипела. Липы плыли мимо, одна за другой, чёрные, в инее. Лукин считал их. Между липами были ровно двадцать шагов, это он определил на глаз ещё на обочине. Сто двадцать лип. Сто тридцать. Где-то за спиной, на юге, за лесом, у изгороди, лежал сугроб, чуть выше других. Чем дальше уходила фура, тем больше он становился похож на другие.

* * *

У развилки фельдфебель посадил его и поехал налево, к Остероде. На столбе на развилке висел жёлтый указатель с чёрными буквами, исклёванный осколками. Стрелка вправо: «Kreuzburg». Стрелка влево: «Osterode». Ещё одна, свежая, прибитая поверх старых, кривая, написанная от руки белой краской: «Königsberg» — прямо. Под ней кто-то нацарапал штыком «Все туда», а потом кто-то другой зачеркнул.

Лукин стоял у столба и смотрел на север.

До Вальдхайма, по карте, оставалось около девяноста километров. Пешком — четыре дня. На попутках — можно за день, если повезёт и если не остановят. Остановят обязательно. Солдатская книжка Штайнера, письмо от Лотты из Тильзита, сто рейхсмарок и фраза про госпиталь — это всё, что у него было против жандармерии, которая, говорили пленные, вешает каждого, кто идёт без бумаги. Бумаги у него не было. Был только Штайнер.

Он вдруг понял, что в двадцать три ноль-ноль Хомяков не застучит ключом, и в штабе, за столом, под плащ-палаткой, радист будет сидеть в наушниках и слушать пустоту. Пять минут.

Десять. Потом скажет Сафронову: «Ольха молчит». Сафронов скажет: «Ждём». Завтра опять. Двое суток. Потом Сафронов отставит стакан и скажет: «Действует по обстановке», — и в этих словах будет всё сразу: и что живой, может быть, и что нет, может быть, и что теперь это уже не важно, потому что изменить ничего нельзя. А Горбунов, у печки, откроет блокнот.

Лукин достал из планшета карту, развернул её, и из угла, из-под карты, высунулся синий в горошек край. Он заправил платок обратно, не глядя.

По дороге со стороны Остероде подходила колонна грузовиков — четыре машины с брезентом, тяжёлые, низко сидящие на задних колёсах. Первая сбросила ход у развилки и остановилась. Из кабины высунулся шофёр, молодой, с забинтованной щекой.

— Унтер! Дорога на Мельзак — эта?

Лукин посмотрел на указатели. Мельзака на них не было. Но он помнил карту.

— Эта, — сказал он. — Прямо, потом через Кройцбург.

— Садись в кузов, если по пути. Только быстро.

Лукин схватился за борт, подтянулся и перевалился внутрь, на какие-то ящики, накрытые брезентом. В кузове сидели ещё трое солдат, сонные, с винтовками между колен, и один из них подвинулся, освобождая место. Машина дёрнулась и пошла.

— Ты откуда? — спросил тот, что подвинулся.

— Из госпиталя.

— Повезло. — Солдат зевнул. — А мы из ада.

Больше он ничего не сказал. Он закрыл глаза и привалился к борту, и через минуту уже спал, открыв рот, и голова его моталась на ухабах.

Лукин сидел на ящике и держал руки в карманах шинели. В правом кармане его пальцы нащупали что-то маленькое, твёрдое, гладкое, чего он раньше не замечал. Он вытащил. Это была пуговица — костяная, светлая, с четырьмя дырочками, не от шинели и не от кителя. От рубашки, может быть, или от детского пальто. Штайнер зачем-то носил её в кармане. Может, оторвалась у кого-то, у Лотты из Тильзита или у матери-литовки, и он хотел пришить, да не успел. Может, нашёл где-то и подобрал, как подбирают ненужное, по привычке. Теперь уже не спросишь.

Лукин повертел пуговицу в пальцах и положил её обратно в карман.

Грузовик шёл на север, обгоняя пеших и телеги, и в кузов летел снег из-под колёс, и солдат напротив спал. Лукин смотрел назад, на дорогу, которая уходила из-под колёс, белая, изрезанная колеями, с чёрными липами по краям. Он считал липы. Потом перестал.

До Вальдхайма оставалось восемьдесят восемь километров. Связи больше не будет. Значит, обстановка.

Глава 2. Город без мужчин

Сапог ударил его по подошве — несильно, по-деловому, как стучат в дверь.

— Встать. Документы.

Лукин открыл глаза. Над ним стоял человек в длинной прорезиненной шинели, с блестящей на груди. Бляха висела на цепи, полумесяцем, и на ней, когда человек наклонился, блистали буквы: «Feldgendarmarie». Цепные псы. Так их звали свои же солдаты, Лукин читал это в письмах. Он встал. Скамья, на которой он спал, была деревянная, вокзальная, с вырезанной на спинке надписью «Reichsbahn», и на ней, рядом с ним, спала женщина в платке, прижимая к себе узел, а из узла торчала детская нога в вязаном носке. Женщина не проснулась.

Он протянул книжку. Жандарм раскрыл её, посмотрел на фотографию, потом на Лукина, потом снова на фотографию.

— Похудел, — сказал Лукин.

— Все похудели. — Жандарм перелистнул страницу. — Хайдекруг. Мемельский?

— Да.

— Справка из госпиталя.

— Нету.

Жандарм поднял глаза. Глаза у него были светлые, воспалённые, с белыми ресницами, как у Хомякова, и Лукин почувствовал, как что-то в груди коротко дёрнулось, будто оборвали нитку.

— Как это — нету?

— Эшелон разбомбили. Под Дойч-Эйлау. — Это он придумал ночью, в поезде, лёжа на полке и глядя в потолок, и проверил по карте: там действительно бомбили, он читал сводки. — Всё сгорело. Вагон с канцелярией сгорел первым.

— А ты, значит, не сгорел.

— Я был в другом вагоне.

Жандарм смотрел на него долго, секунд пять, а может, десять. Лукин не считал. Он смотрел в ответ, стараясь, чтобы в лице не было ничего, кроме усталости. Усталости в лице было достаточно, ему даже не приходилось стараться.

— В полдень явишься в комендатуру, — сказал наконец жандарм и сунул книжку ему в руки. — Ратхаус, второй этаж. Там тебя определят. Не явишься — найдём. Понял?

— Так точно.

— И побрейся. Смотреть противно.

Он пошёл дальше по залу, переступая через ноги, узлы, спящих, и Лукин видел, как он так же постучал сапогом по подошве другого солдата, совсем мальчишки, который спал, свернувшись на полу у печки, и мальчишка вскочил, как подброшенный.

Вокзал был маленький, на два пути, с жёлтыми стенами и часами над входом. Часы стояли. Стрелки показывали без пяти три, и было непонятно, остановились они вчера, или неделю назад, или ещё летом. В зале ожидания пахло мокрой шерстью, карбидом, детской мочой и эрзац-кофе, который кто-то кипятил в углу на спиртовке. На стене висел плакат: паровоз, летящий сквозь ночь, и подпись — «Колёса должны катиться ради победы». Под плакатом сидела старуха и вязала. Спицы стучали.

Лукин вышел на площадь.

* * *

Вальдхайм лежал в низине, по обоим берегам узкой речки, которая здесь делала петлю, и весь был виден с вокзальной площади: кирпичная кирха с острым шпилем, красные черепич-

ные крыши под снегом, ратуша с часами — тоже стоящими, — две улицы, сбегающие к реке, и за рекой ещё десяток домов, а дальше поле. Слева, вниз по течению, через реку шёл железнодорожный мост — три пролёта, серые фермы, каменные быки. Дым из труб поднимался прямо вверх, не колеблясь. Мороз держался.

Улица от вокзала называлась Банхофштрассе. Лукин пошёл по ней, и первое, что он заметил, — то, что заметил бы любой солдат с любой стороны, — в городе не было мужчин.

То есть они были. Был старик с метлой, который мёл крыльцо лавки, хотя мести было нечего. Был другой старик, в форменной фуражке почтальона, с сумкой, в которой ничего не было — он шёл, и сумка болталась плоско, как пустой мешок. Был мальчик лет двенадцати, который тащил за верёвку санки с поленьями, и поленья всё время съезжали, и он их поправлял. Но мужчин — от двадцати до пятидесяти, с прямой спиной, с руками, которые могут что-нибудь сделать, — не было ни одного. Их не было так давно, что город уже перестал это замечать. Женщины шли по улицам сами, сами несли, сами тащили, сами разговаривали у калиток короткими фразами, и, когда Лукин проходил мимо, они замолкали и смотрели на него — не со страхом и не с радостью, а так, как смотрят на редкую птицу, залетевшую не в свой сезон.

На двери ратуши был прибит лист бумаги, свежий, ещё не пожелтевший, с орлом и печатю. Вокруг стояли женщины и читали, и одна читала вслух для тех, кто стоял сзади:

— «...разрешается эвакуация женщин, детей и лиц старше шестидесяти лет в направлении... в организованном порядке... с собой иметь продовольствие на пять дней... запрещается...» — она замолчала и провела пальцем по строчкам. — Запрещается брать мебель.

— Мебель, — сказал кто-то сзади и засмеялся коротким, лающим смехом. — Мебель они запрещают. Иваны у Алленштейна, а они — мебель.

— Тише ты, — сказали ей.

— А чего тише? Чего тише? Две недели говорили: никакой эвакуации, паникёров под суд. Вчера ещё говорили. Шульц-вдову чуть не арестовали, что она сундук на вокзал повезла. А сегодня — пожалуйста. С продовольствием на пять дней. Где я возьму на пять дней?

Ей никто не ответил. Женщины стали расходиться, по одной, по две, и Лукин увидел, как одна из них, отойдя на несколько шагов, вдруг побежала — не к дому, а куда-то вниз, к реке, держа юбку, как девочка.

Чуть дальше, у дома с вывеской часовщика — вывеска была закрашена, и поверх старой фамилии свежей краской было выведено другое имя, — стояла фура. Длинная крестьянская фура, вроде той, что подвезла его вчера, с высокими бортами. Двое — женщина и девочка-подросток — грузили на неё вещи. Перины, подушки, связанные бечёвкой, мешок картошки, швейную машинку «Зингер» в деревянном футляре, ящик с посудой. Потом обе скрылись в доме и через минуту вышли, неся вдвоём напольные часы — высокие, тёмного дерева, с маятником за стеклом. Часы были тяжёлые, и девочка споткнулась на крыльце, и маятник внутри стукнул о стекло и зазвенел, и женщина крикнула на неё. Они долго поднимали часы на фуру, ставили, укладывали, обкладывали перинами. Лукин стоял на другой стороне улицы и смотрел. Ему хотелось подойти и сказать: оставьте. Через три дня вы их бросите на обочине. Через пять дней вы бросите фуру. Через неделю вы будете идти пешком, и у вас будет только то, что в руках, и вы будете жалеть о каждом лишнем килограмме, который несли.

Он не подошёл. Немецкий унтер-офицер не мог знать, что будет через неделю. А русский лейтенант не мог этого сказать.

* * *

У пекарни стояла очередь — человек пятнадцать, все женщины, кроме одного старика в пенсне. Лукин встал в конец. Хлеба ему не было нужно, хлеб у него ещё был, кусок, зажёвнутый в тряпку, в кармане. Ему нужны были люди, которые разговаривают. В очередях разгова-

ривают всегда. Это он знал по Починку, по тридцатым годам, по любой очереди за чем угодно: в очереди люди говорят друг другу больше, чем на исповеди, потому что очередь — это место, где все равны и всем некуда деваться.

Он стоял и слушал. Говорили про эвакуацию. Говорили про поезда: вечером будет поезд на Кёнигсберг, а будет ли — неизвестно, вчера тоже обещали, а он пришёл набитый солдатами и ушёл, никого не взяв. Говорили про хлеб: сегодня по шестьсот граммов, а завтра, может, и вовсе не будет, пекарь грозит закрыться и уехать. Говорили про какую-то Ильзе, у которой муж пропал без вести под Гумбинненом ещё в октябре, а вчера пришло письмо, им написанное, — старое, сентябрьское, где-то застрявшее на почте, — и Ильзе сидит над ним с утра и не встаёт.

Потом женщина перед ним, полная, в мужском пальто, перехваченном ремнём, обернулась.

— Вы с фронта?

— Из госпиталя.

— А на фронте — как?

Он знал этот вопрос. Он знал, что на него отвечают. Нужно было сказать что-нибудь короткое, солдатское, без смысла, — «держимся», или «по-всякому», или просто пожать плечами. Он уже открыл рот, чтобы сказать «по-всякому», и вдруг вместо этого сказал — он сам не понял, откуда это взялось, из какой хрестоматии, с какой страницы:

— Сударыня, судьба наша ныне в руке Божьей, и не нам, смертным, ведать её пути.

Он услышал это, когда уже сказал. Каждое слово было правильным. Каждое слово было из книги. По-русски это прозвучало бы так, как если бы пехотинец в окопе обратился к соседке по очереди белым стихом.

Женщина в мужском пальто смотрела на него, открыв рот. Потом закрыла рот. Потом её лицо медленно, от подбородка к глазам, стало расплываться в улыбку.

— Господи, — сказала она. — Вы что, из университета?

Очередь обернулась. Старик в пенсне — тоже. Лукин почувствовал, как кровь бросилась в лицо, жар до самых ушей под каской, и подумал: вот. Вот так это и кончается. Не на допросе, не на проверке документов, а в очереди за хлебом, из-за одной фразы.

— Нет, — сказал он. Голос сел. Он кашлянул. — Мемельский я. Мать литовка. Дома говорили по-литовски. По-немецки — в школе, по книжкам. Учитель был старый, пастор бывший. Ему Шиллер был главнее Библии.

— Мемельский! — Женщина всплеснула руками. — А, ну тогда понятно. Тогда понятно. — Она обернулась к очереди, будто объясняя: — Мемельский он. У меня невестка из-под Мемеля. Они там все так говорят. Как пастор с кафедры. Или как в театре. — Она снова повернулась к Лукину и вдруг, неожиданно, положила ему руку на рукав. — Вы не обижайтесь, что я смеюсь. Просто давно не слышала, чтобы так говорили. Так красиво. Всё «жрать» да «давай», а вы — «в руке Божьей».

— Невестка ваша где сейчас? — спросил старик в пенсне.

— А кто её знает. — Женщина убрала руку. — В октябре ушла с обозом, когда Мемельский край эвакуировали. Одно письмо было, из Кёнигсберга. Больше не было.

Очередь снова замолчала. Хлеб выдавали медленно, пекарь в окошке взвешивал каждый кусок на весах, подкладывал, отрезал. Лукин стоял и чувствовал, как отходит жар от лица. Руки в карманах шинели были мокрые. Пальцы правой руки нашли пуговицу Штайнера и держали её.

Минут через десять, когда очередь подвинулась, он спросил, будто между прочим, у той же женщины:

— А что, здесь железнодорожники остались? Мне бы с кем из путейцев поговорить. Насчёт поездов.

— Насчёт поездов — это вам к господину Фальке, — сказала она сразу. — Обер-инспектор. Он тут по путям главный, по всей дистанции. Только он злой сейчас, вы не обижайтесь, если что. Все злые.

— Где его найти?

— Да у моста. Как спуститесь к реке, налево, там дом с зелёными ставнями, у самой насыпи. Рядом с путевой будкой. Он там с племянницей. — Она понизила голос. — Сиротка. Из Мемеля, тоже ваша. Тихая такая девочка. Рисует всё время. Фрау Брандт за ней присматривает, соседка, когда он на путях.

— Фрау Брандт, — повторила за ней старуха впереди, не оборачиваясь, и в её голосе было что-то, чего Лукин не понял. Может быть, неодобрение. Может быть, ничего.

Подошла его очередь. Карточки у него не было. Он сказал: «Из госпиталя», — и пекарь, не поднимая глаз, отрезал ему кусок без карточки и взял марки Штайнера. Хлеб был серый, сырой, тяжёлый, с хрустящими крупинками в мякише. Опилки, понял Лукин, откусив. Он видел такой хлеб в трофейных складах и думал, что это пропаганда. Это была не пропаганда. Это был хлеб.

* * *

К реке он спустился по второй улице, той, что шла от кирхи. Улица была крутая, обледеневшая, и кто-то посыпал её золой. У подножия, у самой воды, работали фольксштурмисты. Их было человек десять: старики и подростки. Они рыли окоп поперёк дороги, ведущей к мосту, — вернее, пытались рыть, долбили мёрзлую землю кирками и ломami, и земля отлетала мелкими комьями, как кремьнь. На руках у них были не повязки — повязка была только у одного, у старшего, седого, с медалью ещё за ту войну, — а у остальных просто белые тряпки, наспех намотанные на рукав. Винтовки стояли в пирамиде у забора. Винтовки были разные: две немецкие, одна какая-то итальянская, две старые, с длинными штыками, ещё с той войны. Рядом с пирамидой лежали три фаустпатрона, похожие на большие толкушки для картошки.

Один из подростков, долговязый, в очках с треснувшим стеклом, на секунду разогнулся и посмотрел на Лукина, на его унтер-офицерские нашивки, и в глазах у него было что-то такое, от чего Лукин отвёл взгляд. Восторг, что ли. Мальчишка смотрел на него, как смотрят на настоящего солдата.

Лукин пошёл вниз по течению, по тропинке вдоль берега, к мосту.

Мост был небольшой, однопутный, на трёх пролётах. Фермы клёпаные, серые, старые — прошлого века, наверное, ещё до той войны. Быки каменные, из серого гранита, с ледорезами. Лёд на реке стоял крепкий, у быков — вздыбленный, торосами. Лукин шёл медленно, как гуляют, как ходят солдаты, которым некуда идти, и смотрел.

На каждом быке, на высоте метра два над льдом, в кладке темнели квадратные ниши, заложенные досками. Доски были новые, светлые, на шурупах, а не на гвоздях — чтобы быстро отвинтить. Зарядные камеры. От двух ниш по кладке вверх, к настилу, тянулись тонкие чёрные шнуры, прикреплённые скобами. По настилу шнуры уходили к правому берегу, к будке путевого обходчика, рядом с которой стоял дом. Дом был двухэтажный, кирпичный, с крутой крышей и с зелёными ставнями. Ставни были открыты. Из трубы шёл дым.

У входа на мост, у будки, стоял часовой — тоже старик, в длинной шинели старого образца, с винтовкой, на которой висела, как на вешалке, его шапка. Голова у старика была повязана платком, как у бабы. Он грелся у железной бочки, в которой горели щепки, и смотрел на Лукина без всякого интереса.

— Проходить нельзя, — сказал он, когда Лукин подошёл ближе. — Военный объект.

— Я не прохожу. Я смотрю.

— Смотреть тоже нельзя.

— Почему?

Старик подумал.

— Не знаю, — признался он. — Сказали — нельзя. Наверно, потому, что взорвут скоро.

— Когда?

— А это не мне знать. Это господину обер-инспектору знать. Или вот эсэсовцам, что приедут. Говорят, приедут. — Он посмотрел на Лукина внимательнее. — А тебе-то что? Ты из сапёров?

— Нет. Пехота.

— А. — Старик потерял к нему интерес. — Пехота. Пехоте тут смотреть нечего.

Лукин постоял ещё немного, глядя на мост. На правом берегу, у будки, на стене, висел металлический ящик, серый, с замком, и от него шнуры уходили в землю. Подрывная станция. Или распределительная коробка. Если бы здесь был сапёр, он сказал бы точнее. Лукин не был сапёром. Он знал только, что мост готов и что всё, что нужно, — это соединить два провода в ящике, и тогда три пролёта клёпаного железа прошлого века упадут на лёд. Сафронов говорил: таких мостов десятки. Сафронов говорил: голова. И голова эта сейчас сидела в двухэтажном доме с зелёными ставнями, в тридцати шагах от ящика с проводами, и топила печку.

Он повернулся и пошёл обратно вверх, к городу.

* * *

Часы на ратуше стояли, но у Лукина были часы Штайнера, и они показывали без двадцати двенадцать. Через двадцать минут его ждали в комендатуре. Там его определят. Это значило: впишут в какую-нибудь сводную роту, из таких же, как он, отбившихся и потерявшихся, дадут винтовку, двух стариков и мальчишку в очках под начало и поставят в окоп у моста, или отправят на машине на юг, к Алленштейну, затыкать дыру. Это значило конец всему. Не явиться — значило, что к вечеру жандарм с белыми ресницами начнёт его искать. Город был маленький. Найдёт.

У Лукина были двадцать минут и восемь часов светлого времени. Нужно было, чтобы прошли восемь часов, а двадцать минут — нет.

Он свернул в переулок за кирхой. Переулок был узкий, мощёный, с глухими заборами, и в конце его стоял дом, одноэтажный, с мансардой, с палисадником. Калитка была открыта. Дверь — тоже, чуть-чуть, на ладонь. На крыльце намело снега, и в снегу не было следов. Никто не входил и не выходил со вчерашнего снегопада.

Он вошёл.

В прихожей висели пальто — два женских, одно детское, синее, с латунными пуговицами. На полу стояли боты, тоже детские. Дальше была кухня, и в кухне был накрыт стол. Три тарелки, три чашки, в одной на дне — коричневый круг высохшего кофе. Хлебница с куском хлеба, твёрдым, как камень. Масленка с маргарином. Банка с повидлом, открытая, с ложкой внутри. На краю стола лежала раскрытая тетрадь, школьная, в линейку, и в ней детским почерком было выведено «Диктант» и дальше ничего. Ручка с пером лежала рядом. Чернила в чернильнице замёрзли и вздулись пузырьком.

Печь была холодная. Окно, выходящее во двор, затянуто инеем изнутри, так что свет в кухне был белёсый, молочный, как в больнице.

Лукин стоял на пороге кухни и смотрел на стол. Он видел: позавчера или вчера, утром, они сели завтракать. Мать, ещё кто-то — бабушка? сестра? — и ребёнок, который должен был после завтрака писать диктант. И в это время что-то случилось. Кто-то постучал в окно. Кто-то крикнул с улицы. Кто-то принёс весть. И они встали из-за стола, оделись — нет, не все оделись, синее детское пальто так и висит в прихожей, — и ушли. Не взяв ничего. Не убрав со стола повидло. Ушли так быстро, что не закрыли дверь. Почему? Куда? Ушли с обозом? Уехали на

вчерашнем поезде, том, что был набит солдатами? Или не уехали, и не ушли, а их увели? Кто? Ничего этого нельзя было узнать.

Он сел за стол — на тот стул, где стояла чашка с высохшим кофе, — и положил руки на скатерть. Скатерть была клетчатая, сине-белая. Он сидел и смотрел на тетрадь. «Диктант». Буквы круглые, старательные, с наклоном, какого требуют в немецкой школе, — у нас требуют другой. Ребёнку было лет восемь. Девочка, судя по ботам. Он подумал о девочке Фальке — тихой, которая рисует, — и подумал, что ей, наверное, примерно столько же, и тут же отогнал эту мысль, как отгоняют муху.

В доме было тихо. Только в соседней комнате, где он ещё не был, что-то тикало. Он встал и пошёл туда. Это была гостиная: диван с вышитыми подушками, фикус в кадке, замёрзший, с чёрными листьями, фотографии на стене — мужчина в форме, мужчина в свадебном костюме, тот же мужчина с младенцем на руках. На комодке стояли часы. Маленькие, настольные, с фарфоровым циферблатом и розочками по краю. Они шли.

Кто-то завёл их перед уходом. Или они были из тех, что заводятся на восемь дней, и их завели в воскресенье, как всегда, по привычке, и они шли, не зная, что в доме больше никого нет, и будут идти, пока не кончится завод. Ещё дня четыре, может, пять.

Лукин вернулся на кухню, сел на тот же стул и достал из кармана хлеб с опилками. Он ел медленно, отламывая по кусочку, и смотрел в белое окно. Часы в гостиной тикали. Двенадцать. Пять минут первого. Десять. Комендатура ждала его. Ждала, ждала и перестала. Где-то там, на втором этаже ратуши, писарь вписал его фамилию — Штайнера фамилию — в список неявившихся. Или не вписал. Может, там и списка никакого не было. Может, там, на втором этаже ратуши, сидел такой же писарь, как этот дом, — с недопитым кофе, с недописанным диктантом, — и всем было уже всё равно.

Он не позволил себе в это поверить.

* * *

День тянулся. Лукин не спал, хотя хотелось. Он сидел на кухне, потом в гостиной, на диване с вышитыми подушками, потом снова на кухне, и думал, как будет разговаривать с Фальке.

Он перебирал варианты, как перебирают ключи на связке. Можно было прийти как Штайнер и попроситься на постой. Пожить, присмотреться, улучшить момент. Момент может не быть: город эвакуируется, мост вот-вот взорвут, эсэсовцы, о которых говорил старик, приедут. Можно было прийти как Штайнер и сказать правду не сразу, а потом — через час, за чаем, когда девочка ляжет спать. Можно было прийти с «вальтером» в руке и не говорить ничего, кроме: «Одевайтесь». Пятьдесят два года. Девяносто километров. Без рации. Без Хомякова. Мимо жандармов с цепями.

Без ребёнка, сказал Сафронов.

Хорошо, подумал Лукин. Допустим, без ребёнка. Значит, девочку оставить здесь, с соседкой, с фрау Брандт. Город эвакуируется. Соседка пойдёт с обозом, возьмёт девочку. Или не возьмёт. Или не пойдёт. Это не его дело. Это никогда не было его делом.

Он поймал себя на том, что третий раз за день думает о девочке, которую ни разу не видел, и разозлился. На себя. На Сафронова. На синее пальто в прихожей. На часы, которые тикали в гостиной, как будто кто-то стоял за стеной и стучал пальцем по дереву.

Он открыл планшет, достал карту, разложил её на клетчатой скатерти, отодвинув чашки, и долго, сосредоточенно, водил по ней пальцем. Вальдхайм. Мост. Дорога на север — на Кёнигсберг. Дорога на юг — туда, откуда он пришёл, туда, где сейчас, должно быть, уже гремело ближе, чем вчера. Он прислушался. Да. Если сидеть тихо, если задержать дыхание, — с

юга, сквозь стены, сквозь тиканье часов, доходил звук, низкий, как гул в морской раковине. Фронт шёл. Фронт шёл сюда быстрее, чем можно было идти отсюда.

Значит, может быть, ничего не нужно. Может быть, нужно просто ждать — день, два, три, — пока не придут свои. Сидеть в этом доме, и есть повидло ложкой из банки, и слушать часы. А потом выйти навстречу и сказать: «Вот он. Вот ваш Фальке. Вон тот дом с зелёными ставнями».

Но мост. Мост взорвут раньше. Мосты всегда взрывают раньше. И эсэсовцы придут раньше. И Фальке, если он не дурак, а он не дурак, уйдёт раньше. На север. С девочкой. С головой.

Лукин сложил карту.

* * *

Стемнело в начале пятого. Он вышел, когда на улицах уже не было никого, кроме теней в окнах, и пошёл к реке. Снег скрипел под сапогами Штайнера, громко, как наст. У окопа поперёк дороги никого не было: фольксштурм разошёлся по домам. Кирки и ломы лежали на бруствере, брошенные, и одна кирка торчала из мёрзлой земли, воткнутая, как флаг.

Внизу, у моста, у будки, горела бочка. Часовой — тот же старик или другой — сидел на ящике рядом, сгорбившись, протянув руки к огню. Он не видел Лукина: огонь ослеплял.

Дом с зелёными ставнями стоял чуть в стороне, у насыпи, за низким штaketником. На первом этаже горело одно окно. Ставни на нём были открыты — то ли забыли закрыть, то ли в этом городе уже никто не соблюдал затемнения. Свет был жёлтый, керосиновый, тёплый. Лукин подошёл к штaketнику, остановился в тени и посмотрел в окно.

Там была комната с низким потолком. Изразцовая печь в углу. Стол под лампой с зелёным абажуром. За столом, спиной к печке, сидела девочка.

Ей было лет десять. Может, меньше — она была маленькая, узкоплечая, в вязаной кофте, и тёмные волосы были заплетены в две косы, перевязанные на концах тряпочками. Она сидела, наклонившись над листом бумаги, и рисовала. Рисовала цветными карандашами, медленно, высунув кончик языка. Рядом с ней на столе сидела тряпичная кукла, прислонённая к сахарнице. Девочка время от времени что-то говорила кукле, не поднимая головы, и Лукин видел, как шевелятся её губы.

Он не видел, что она рисует. Он видел только, что она рисует жёлтым — долго, старательно, кругами, в одном углу листа. Солнце, догадался он. Дети везде рисуют солнце в углу.

Потом в комнату вошёл мужчина.

Он вошёл сбоку, из-за печи, и Лукин сначала увидел только его руки, потому что он встал у стола, спиной к окну, и наклонился над девочкой. Руки были большие, с длинными пальцами, с тёмными суставами. Потом мужчина выпрямился. Он был высокий, сутулый, в жилете поверх рубашки, без пиджака. Седые волосы коротко подстрижены. Очки на лбу. Он что-то сказал девочке, и она подняла голову и ответила, и он кивнул.

Потом он достал из кармана жилета часы.

Это были карманные часы, серебряные, на цепочке. Он открыл крышку, посмотрел на циферблат, потом взял часы в левую руку и большим и указательным пальцами правой начал заводить. Медленно. Не глядя. Глядя на девочку. Лукин видел, как поворачивается головка завода — раз, ещё раз, ещё, — и считал: шесть, семь, восемь. На двенадцатом мужчина остановился, закрыл крышку и убрал часы в жилет. Как делал, наверное, каждый вечер, каждый день, всю жизнь, — так, как никто больше в этом городе уже ничего не делал. По привычке. По порядку. Будто время ещё что-то значило.

Девочка снова склонилась над рисунком. Мужчина стоял над ней, положив руку на спинку её стула.

Лукин стоял в тени за штaketником. Мороз пробирался под шинель Штайнера, под шов на спине, под лопатку. Он думал: «Вот он. Голова». Он думал: «Пятьдесят два года». Он думал: «Без ребёнка». И ещё одну вещь он думал, которую не мог бы сказать словами, даже самому себе, ни по-русски, ни по-немецки, ни языком книг, ни языком окопа, — что-то про часы, и про руку на спинке стула, и про жёлтое солнце в углу листа.

Он вошёл в калитку. Поднялся на крыльцо — три ступеньки, обледеневшие, подметённые. Поправил ремень. Снял каску и пилотку и сунул их под мышку, как входят в дом, где живут люди.

Потом постучал.

Глава 3. Дом, дерево, солнце

Дверь открылась не сразу. Сначала за ней что-то проскрежетало — засов, тяжёлый, железный, — потом лязгнула цепочка, потом дверь подалась на ширину ладони, и в щели появились очки. Те самые, что были на лбу. Теперь они сидели на носу, и стёкла отразили свет фонаря у бочки на мосту, так что глаз за ними не было видно.

— Да?

— Добрый вечер. — Лукин держал каску под мышкой. — Унтер-офицер Штайнер. Мне в комендатуре сказали, что у вас можно переночевать.

Это была вторая придуманная за день ложь, и она была хуже первой. Комендатура не посылала людей на постой к обер-инспекторам Рейхсбана, в дома у охраняемых мостов. Или посылала — Лукин не знал. Он знал только, что сейчас этот человек скажет: «Кто вам сказал? Как фамилия?» — и тогда придётся придумывать фамилию.

Очки смотрели на него молча. Потом опустились — человек наклонил голову и поверх стёкол посмотрел на него снизу вверх, хотя был выше. Глаза оказались серые, светлые, с тяжёлыми веками.

— В комендатуре, — сказал он. Не спросил — повторил. Голос был низкий, с хрипотцой, и в нём слышалось то, что Лукин знал только по учебникам и по пленным: тягучий, чуть певучий восточнопрусский выговор, где гласные растягиваются, а согласные проглатываются. — Ну, раз в комендатуре.

Цепочка звякнула. Дверь открылась.

— Заходите. Сапоги отряхните. Здесь живёт ребёнок, а ребёнку я не позволю болеть из-за вашей фронтовой грязи.

Лукин отряхнул сапоги о скребок у порога — железный, в виде таксы с длинным телом, — и вошёл.

* * *

В прихожей было темно и холодно, пахло углём и уксусом. На вешалке висело пальто — длинное, чёрное, с бархатным воротником, и на лацкане пальто, когда хозяин чиркнул спичкой и зажёл маленькую лампу на полке, блеснул круглый значок: красный ободок, белое поле, чёрный крест с загнутыми концами. Партийный. Лукин видел такие сотни раз — на пленных, на убитых, на кителях в трофейных складах. Он не думал, что увидит его на пальто с бархатным воротником в прихожей, где пахнет уксусом.

Над вешалкой, на стене, висел портрет. Фюрер в профиль, в коричневой рубашке, с рукой на пряжке ремня — литография, какая висела, должно быть, в каждой конторе Рейхсбана. Рама была дешёвая, крашенная под бронзу, и портрет висел вкось, сползая правым углом вниз, а стекло было серым от пыли. Пыль лежала ровно, давно. Её никто не трогал месяцами. Лукин отметил это так, как отметил бы номер на погонах пленного: отдельно, на всякий случай.

— Шинель можете снять здесь, — сказал хозяин. — Или не снимайте. В комнате тепло, но вы, наверное, промёрзли до костей. Тогда не снимайте.

— Спасибо.

— Фальке, — сказал хозяин. — Отто Фальке. Я здесь отвечаю за пути, если вас это интересует. А если не интересует — всё равно отвечаю.

Он не протянул руки. Лукин тоже не протянул.

Они прошли в комнату, ту самую, с низким потолком и изразцовой печью. Здесь было тепло — по-настоящему, сухо, как бывает только от изразцов, которые прогреваются насквозь

и потом всю ночь отдают тепло, — и от этого тепла у Лукина вдруг закружилась голова. Он остановился у порога. Девочка подняла голову от рисунка.

Вблизи она оказалась ещё меньше, чем в окне. Лицо узкое, бледное, с острым подбородком. Брови тёмные, густые, почти сросшиеся над переносицей. Глаза тоже тёмные и очень большие, и они смотрели на Лукина — на его шинель, на каску под мышкой, на сапоги — без страха и без любопытства, просто смотрели, впитывали, как промокашка впитывает чернила.

— Это унтер-офицер Штайнер, — сказал Фальке. — Он у нас переночует. Поздоровайся.

— Добрый вечер, — сказала девочка.

— Добрый вечер.

— Это Лиза. — Фальке положил руку на спинку её стула, так же, как Лукин видел в окне. — Моя племянница.

Лиза снова опустила голову к рисунку. Кукла, прислонённая к сахарнице, смотрела на Лукина пуговичными глазами. Кукла была тряпичная, старая, с волосами из коричневой шерсти и в платье из лоскута, похожего на старую занавеску.

— А это Труди, — сказала Лиза кукле, или Лукину, или никому. — Она не здоровается с солдатами.

— Лиза.

— Она не здоровается, — упрямо повторила Лиза, не поднимая головы. — Я-то здороваюсь.

Фальке вздохнул, и вздох его был не сердитый, а какой-то очень усталый, будто этот разговор повторялся уже много раз и будет повторяться ещё.

— Садитесь, — сказал он Лукину. — Вон там, у печки. Я поставлю чайник. Чая нет, есть то, что теперь называют кофе. Пить можно. Если не думать, из чего.

Он ушёл на кухню. Лукин сел на табурет у печки и прижался спиной к изразцам, и изразцы были горячие, и тепло пошло через шинель Штайнера, через шов на лопатке, через китель и колючее бельё, в позвоночник, в рёбра, и Лукин закрыл глаза. На секунду. На одну секунду, сказал он себе. Потом открыл.

Комната была кабинетом и гостиной одновременно. У окна, напротив стола, стояла чертёжная доска на треноге, наклонная, с приклепанным к ней листом ватмана. Лист был чистым. На краю доски лежали рейсшина, угольник, коробка с готовальней. Вдоль стены тянулись полки с книгами — толстыми, тёмными, с золотыми корешками: справочники, таблицы, «Мостостроение», «Соппротивление материалов», Гютте, ещё что-то, — а на отдельной полке, повыше, стояли другие книги, потоньше, и на одной из них Лукин прочёл: «Kant». Рядом — фотография в рамке: женщина, немолодая, полная, в тёмном платье с кружевным воротником, сидит в плетёном кресле в саду и смеётся, прикрыв глаза от солнца. Фотография была единственной в комнате.

Лукин посмотрел на чистый лист ватмана на доске. Потом на камин. Камина не было, была печь. В печи, за чугунной дверцей, гудело. Если бы Фальке сжигал бумаги, он сжигал бы их здесь. Сафронов говорил: я бы сжёг. На изразцах, у самого пола, Лукин заметил несколько серых хлопьев, лёгких, как пух. Пепел. Можно было бы подумать, что это от дров. От дров пепел другой.

Он перевёл взгляд на девочку. Лиза рисовала. Теперь он видел рисунок.

Дом. Дерево. Солнце.

Дом был квадратный, с треугольной крышей, с трубой, из которой шёл дым — завитушкой, как пружина. Два окна, крест-накрест рамы. Дверь посередине. Дерево слева — круглое, зелёное, на коричневой палке, и на нём красные точки, яблоки, наверное. Солнце в правом углу, жёлтое, кругами, с лучами-палочками. Трава внизу — частокот зелёных штрихов. Такой рисунок мог нарисовать любой ребёнок в любой стране. Такой рисунок рисовали, должно быть, дети в Починке, в Смоленске, в Вологде у Хомякова.

Лиза взяла синий карандаш и стала закрашивать дверь.

Она закрашивала её долго и аккуратно, сначала по контуру, потом изнутри, плотными, ровными штрихами, наклонив голову так, что одна коса упала на лист и она отбросила её назад нетерпеливым движением. Дверь становилась синей — густо-синей, как небо в сумерках, как чернила. Это была единственная вещь на рисунке, которую она закрашивала с таким старанием. Всё остальное — дом, дерево, траву — она только обводила.

* * *

В прихожей хлопнула дверь, и голос, женский, низкий, с одышкой, сказал:

— Отто, это я. Дрова.

В комнату вошла старуха с охапкой поленьев. Она была крупная, широкая в кости, в сером пуховом платке, завязанном крест-накрест на груди, и в чёрных валенках с калошами. Лицо у неё было большое, обветренное, с мелкими красными жилками на щеках, и маленькие голубые глаза под седыми бровями. Она вошла, увидела Лукина и остановилась.

Поленья в её руках не дрогнули. Она держала их прижатыми к груди, как держат младенца, и смотрела на Лукина. Смотрела долго — на шинель, на нашивки, на лицо, на руки. Потом перевела взгляд на кухню, где звякала посуда.

— Вечер добрый, — сказал Лукин и встал с табурета.

— Добрый, — сказала старуха. Не сразу. — Сидите, сидите.

Она прошла мимо него к печке, присела, кряхтя, и стала складывать поленья в железный короб у стены. Складывала аккуратно, одно к одному, корой вверх. Лукин стоял и смотрел, как она складывает. Почему-то сесть, пока она работает, он не мог.

— Сидите, я говорю, — повторила она, не оборачиваясь. — Вы солдат, вам сидеть надо, пока можно. Потом настоитесь.

Лукин сел.

— Это фрау Брандт, — сказал Фальке, появляясь в дверях кухни с кофейником в руке. — Соседка. Без неё мы с Лизой давно умерли бы с голоду. Или замёрзли. Или, что ещё вероятнее, заросли бы грязью, как свиньи в хлеву. Фрау Брандт, это унтер-офицер Штайнер. Его к нам прислали на ночь.

— Прислали, — сказала фрау Брандт поленьям.

— Из комендатуры.

— А. — Она положила последнее полено, отряхнула руки и стала медленно подниматься, держась за край печки. Поднялась. Повернулась. — Из комендатуры. Ну, тогда хорошо. А то по улице сейчас жандармы ходили. По домам. Я думала, вы от них.

— Что за жандармы? — спросил Фальке. Он поставил кофейник на стол, на деревянную подставку, и стал расставлять чашки. Три. Подумал и поставил четвёртую, маленькую, детскую, с отбитой ручкой.

— А я знаю? С цепями. Двое. Ходят, спрашивают. Говорят, какой-то солдат сегодня утром на вокзале был, ему велели прийти в комендатуру, а он не пришёл. Унтер-офицер. — Она посмотрела на Лукина. — Говорят, может, дезертир. Говорят, может, ещё кто.

В комнате стало тихо. Слышно было, как гудит печь и как скрипит по бумаге синий карандаш — Лиза не перестала рисовать, — и как где-то далеко, на мосту, у бочки, часовой кашлянул.

Фальке разливал кофе. Он разлил его по трём чашкам — ровно, до одного уровня, не пролив ни капли, — потом налил в детскую чашку с отбитой ручкой молока из бутылки, на донышко, и долил кофе. Поставил кофейник. Потом поднял голову и посмотрел на Лукина.

Это был короткий взгляд, секунду или две. Серые глаза под тяжёлыми веками, очки, сдвинутые на кончик носа. В этом взгляде не было ни вопроса, ни угрозы. Так, подумал Лукин,

смотрит инженер на трещину в бетоне: не пугаясь, не удивляясь, а просто отмечая, где она, какой длины и куда идёт.

— Ну, — сказал Фальке, — у нас дезертиров нет. У нас есть унтер-офицер, которого прислала комендатура. Садитесь к столу, фрау Брандт. Кофе остынет. Хотя от этого он хуже не станет, потому что хуже уже нельзя.

Фрау Брандт постояла ещё секунду. Потом развязала платок, сняла его, сложила вчетверо и повесила на спинку стула. Под платком была седая коса, уложенная вокруг головы, как корона. Она села к столу.

Лукин тоже сел.

Ничего не произошло. Совсем ничего. Но он понял: что-то сейчас было сказано, что-то очень важное, на языке, которого он не знал, — не на немецком и не на русском, а на том языке, на котором разговаривают люди, прожившие рядом достаточно долго, чтобы не нуждаться в словах. И он, Лукин, был в этом разговоре не участником, а предметом. Как полено в коробе.

* * *

Ужинали картошкой в мундире, которую фрау Брандт принесла в кастрюле из своего дома, и солёной селёдкой, которую Фальке достал откуда-то из подвала, сказав, что это последняя, и что берёт он её для особого случая, и что конец света, видимо, достаточно особый случай. Селёдка была крупная, жирная, с серебряной кожей. Лиза ела её руками, обсасывая каждую косточку, и Фальке не делал ей замечаний.

Лукин ел медленно. Он отвык есть за столом, с тарелки, с вилкой, при свете лампы с абажуром. В последний раз он так ел — он попытался вспомнить и не смог. До войны. В Починке. У Таниной матери, в воскресенье, был пирог с капустой. Нет. Не надо.

— В ратуше вывесили про эвакуацию, — сказала фрау Брандт. — Видел?

— Видел, — сказал Фальке. — Я его, можно сказать, читал ещё до того, как его написали. Я третью неделю пишу в Кёнигсберг рапорты о том, сколько у меня порожних вагонов, сколько паровозов на ходу и сколько угля. Ответ один: эвакуация преждевременна, паникёров под суд, вагоны нужны армии. Вчера армии они уже не нужны. Армия едет сама, на чём придётся. А сегодня, видите ли, разрешили. — Он отложил вилку. — С продовольствием на пять дней. Из Вальдхайма до Кёнигсберга сорок шесть километров. Даже по нашим нынешним дорогам это не пять дней. Это два. Значит, они сами не верят, что поезда пойдут.

— А пойдут? — спросила фрау Брандт.

— Один пойдёт. Завтра к ночи, если ничего не случится. Или послезавтра утром, если случится что-нибудь небольшое. Из Алленштейна идёт состав с ранеными, у нас его подцепят к нашему паровозу, к тому, что стоит в депо с холодной топкой, потому что угля нет. — Он посмотрел на Лукина поверх очков. — Видите, унтер-офицер, я рассказываю вам служебные сведения. Если вы шпион, вам будет что передать.

Фрау Брандт уронила вилку. Лиза подняла голову.

— Это шутка, — сказал Фальке. — У нас, у путейцев, такой юмор. Плохой. Как кофе.

Лукин улыбнулся. Улыбка далась ему с трудом, как будто лицо было из мёрзлой глины.

— А после этого поезда? — спросил он.

— После этого поезда, — сказал Фальке, — будет следующий. Или не будет. Это уже вопрос не к Рейхсбану. Это вопрос к вашим коллегам. — Он помолчал. — К тем, что на юге.

Он не уточнил, к каким. Лукин тоже не стал уточнять.

— Хайдекруг, — сказал Фальке, очищая картофелину от кожуры ножом, длинной ровной спиралью, не обрывая. — Я там бывал. Давно, ещё в двадцатых, когда Мемель отдали литовцам и мы строили ветку на Тильзит с нашей стороны границы. Красивый город. Маленький. Рыночная площадь, кирха, мельница на Шиш... на этой реке, как её...

— Шиш, — сказал Лукин.

Он не знал, есть ли в Хайдекруге река Шиш. Он сказал это потому, что Фальке начал говорить это слово и остановился, и Лукин понял, что его ждут, и повторил первый слог. Это могла быть ловушка. Это могла быть просто забывчивость пожилого человека.

— Шиш, — согласился Фальке. — Да. Шиш. Где вы там жили?

— На окраине. Ближе к Русе.

Русе была на карте — Лукин помнил карту Мемельского края, они с Сафроновым смотрели её перед выходом, и Лукин тогда же выучил наизусть несколько названий вокруг Хайдекруга, на всякий случай: Русе, Вилкишкен, Шверин. Он не знал, как выглядят эти места. Он знал, как они пишутся.

— Ближе к Русе, — повторил Фальке. — Там, где болота.

— Да.

— И угорь. Там ведь знаменитый угорь. Копчёный.

— Да. Отец ловил.

— Ваш отец был рыбак?

— Нет. — Лукин отрезал кусок селёдки. — Ловил для себя. По воскресеньям.

Фальке кивнул и сунул в рот картофелину. Жевал медленно. Смотрел в тарелку.

— А мать литовка, — сказал он.

Лукин поднял голову. Он не говорил Фальке про мать. Он говорил про мать сегодня днём, в очереди у пекарни, женщине в мужском пальто. В очереди было пятнадцать человек.

— Это в городе уже рассказывают, — сказал Фальке, не поднимая глаз, будто отвечая на вопрос, которого Лукин не задал. — У нас маленький город, унтер-офицер. Сегодня у пекарни один солдат сказал фрау Ланг, что судьба наша в руке Божьей. Фрау Ланг потом всем рассказывала. Ей очень понравилось. Говорит, давно не слышала такого красивого немецкого. Говорит, мать у него литовка, а учитель был пастор.

— Пастор, — сказал Лукин. — Бывший.

— Бывший пастор. — Фальке взял следующую картофелину и снова начал снимать с неё кожуру спиралью. — Кант говорил, что ложь — это отказ человека от своего человеческого достоинства. Кант, между прочим, был наш, кёнигсбергский. Никогда никуда не уезжал. Говорят, дальше шестидесяти вёрст от города в жизни не отъезжал. — Спираль кожуры оборвалась, и Фальке посмотрел на неё с досадой. — Но Кант не жил в тысяча девятьсот сорок пятом году. Кант много чего не знал.

Фрау Брандт кашлянула. Фальке посмотрел на неё, и она посмотрела на него, и снова между ними прошло что-то, чего Лукин не понял.

— Отто, — сказала она, — девочке пора спать.

— Я не хочу спать, — сказала Лиза.

Она до сих пор молчала. Сидела над своей тарелкой, обсасывала селёдочные кости и складывала их на край тарелки, одну к одной, ровным рядком, как фрау Брандт складывала поленья. А теперь подняла голову и смотрела на Лукина своими огромными тёмными глазами.

— Вы тоже из Мемеля? — спросила она. — Как я?

— Из-под Мемеля, — сказал Лукин. — Хайдекруг. Это рядом.

— Я тоже из Мемеля, — сказала Лиза. — Я там родилась.

— Где ты там жила?

Он спросил просто так. Он спросил, потому что так спрашивают взрослые у детей, — без интереса, чтобы что-нибудь спросить. Он ожидал любого ответа. Название улицы. «У моря». «Около кирхи». «Не помню».

Лиза открыла рот. И закрыла. Она смотрела на него, и в её глазах что-то метнулось — быстро, как мышь под половицей, — и пропало. Она посмотрела на Фальке. Потом на фрау Брандт. Потом на куклу.

— Там, — сказала она. — Где... там...

— Она была совсем маленькая, когда её оттуда увезли, — сказал Фальке. Голос его был ровный, спокойный, учительский. Он отложил нож. — Ей было шесть. Её родители умерли от дифтерии, оба, одной зимой. Я забрал её к себе. Она ничего не помнит. Правда, Лиза? Ты ведь ничего не помнишь про Мемель.

— Ничего, — сказала Лиза.

— Вот видите. Дети забывают. Это их спасение.

— Конечно, — сказал Лукин. — Извините.

— Не за что.

Лиза снова опустила голову к тарелке. Положила ещё одну косточку на край, в ряд. Её рука, заметил Лукин, слегка дрожала. Он подумал: я напомнил ей о мёртвых родителях. Сирота. Дифтерия. Она не хочет помнить. Он подумал, что он — солдат, чужой человек, пришедший с мороза, — сел за этот стол и первым же вопросом сделал ребёнку больно. Ему стало неловко. Он отвернулся, посмотрел на рисунок, лежавший на краю стола, отодвинутый, чтобы не испачкать. Дом. Дерево. Солнце. Синяя дверь.

— А почему дверь синяя? — спросила фрау Брандт. Она тоже смотрела на рисунок. Голос у неё был мягкий, но в мягкости было что-то, какая-то нота, которую Лукин расслышал, но не смог назвать. — Таких дверей не бывает, Лиза. Двери бывают коричневые. Или зелёные, как наши ставни.

— Бывают синие, — сказала Лиза в тарелку.

— Где же ты видела синюю дверь?

— Бывают, — сказала Лиза.

Фальке встал. Он встал резко, так что стул под ним скрипнул, и это было первое резкое движение, которое Лукин за весь вечер у него заметил.

— Всё, — сказал он. — Спать. Фрау Брандт, будьте добры. Я уберу.

Фрау Брандт поднялась. Она взяла Лизу за руку, и Лиза послушно слезла со стула, прихватив куклу, и они пошли к двери. На пороге Лиза обернулась.

— Спокойной ночи, — сказала она Лукину. — Это я. Труди не говорит.

* * *

Ему постелили на диване в той же комнате, у чертёжной доски. Фальке сам принёс подушку и одеяло — толстое, стёганое, в белом пододеяльнике, пахнущем лавандой и сундуком. Принёс и положил на диван, не говоря ни слова, и ушёл на кухню. Лукин слышал, как он гремит там посудой, моет тарелки в тазу, ставит их на полку. Звуки были неторопливые, размеренные, домашние.

Он не стал раздеваться. Снял сапоги — впервые за двое суток, и ноги в двух парах носков с буквами «M. S.» загудели, как будто в них вливали кипяток. Снял ремень, положил рядом, на пол, так, чтобы кобура с «вальтером» была под рукой. Лёг. Накрылся одеялом поверх шинели. Лаванда и сундук. Он лежал и смотрел в потолок, на трещину в штукатурке, которая шла от угла к лампе, извилистая, как река на карте.

Он понимал, что нужно было что-то сделать. Сейчас, этой ночью. Девочка спит наверху. Старуха — тоже, наверное, наверху с ней или ушла к себе. Фальке на кухне, один. Можно встать, взять «вальтер», войти на кухню и сказать: «Одевайтесь». Можно. Пятьдесят два года, девяносто километров, жандармы с цепями, которые сегодня ходили по домам и искали его. Искали его.

Фальке знал.

Лукин лежал и перебирал вечер, как перебирают в памяти сданный экзамен, ответ за ответом. Шиш. Русе. Угорь. Мать литовка. Кант о лжи. «У нас дезертиров нет». Фальке знал,

что жандармы ищут именно его, — понял в ту же секунду, когда фрау Брандт сказала «унтер-офицер», и посмотрел, и промолчал. А потом сказал: садитесь к столу. Почему? Что он знал ещё? Что он думал?

Звуки на кухне стихли. Потом хлопнула дверь — входная, — и по ногам потянуло холодом. Потом голоса. Тихие. Фальке и фрау Брандт. Она не ушла к себе — она вышла, видимо, уложив девочку, и они стояли теперь в прихожей, у двери, у вешалки с чёрным пальто, и говорили вполголоса.

Лукин лежал неподвижно. Стена между комнатой и прихожей была тонкая, оштукатуренная дранка, и сквозь неё доходили обрывки. Он ловил их, как ловят радио сквозь помехи.

— ...сегодня приходил Шольц, с вокзала... — это фрау Брандт.

Пауза. Потом Фальке, ниже, неразборчиво.

— ...говорит, телеграмма... команда... эсэсовцы, сапёры... послезавтра. Или завтра к ночи...

— ...Майзель? — Фальке. Это слово Лукин расслышал отчётливо, потому что Фальке сказал его громче, чем остальные, будто удивившись или испугавшись. — Тот самый?

— ...не знаю, какой самый. Шольц сказал — Майзель. Молодой. Со шрамом. Спрашивал про тебя. Почему ты не явился в Кёнигсберг с бумагами...

Тишина. Долгая. Лукин считал секунды. На двадцать третьей Фальке что-то сказал, коротко, и фрау Брандт ответила, тоже коротко. Он разобрал только: «...мост...» и ещё: «... не успеем...» — и не понял, кто из них это сказал.

Потом снова Фрау Брандт, громче, почти обычным голосом:

— А этот?

— Этот, — сказал Фальке. И замолчал.

— Отто. Ты знаешь, кто он?

— Нет, — сказал Фальке. — Но догадываюсь.

— И что?

— Иди спать, Марта. — Это было сказано мягко, совсем не так, как он говорил с Лукиным. — Иди спать. Завтра будет длинный день. Все дни теперь будут длинные.

Входная дверь снова хлопнула, снова потянуло холодом. Шаги — тяжёлые, с калошами — прохрустели по снегу под окном и стихли. Засов. Цепочка.

Потом шаги в прихожей — другие, мягкие, в домашних туфлях. Они прошли мимо двери комнаты, на кухню. Остановились. Долгая тишина. Лукин лежал и слышал, как бьётся сердце — в ушах, в горле, в кончиках пальцев, которые лежали на кобуре. Он считал удары. Сорок. Шестьдесят. Он подумал: вот сейчас Фальке выйдет из дома, через кухню, через двор, и пойдёт к жандармам. Или к бочке у моста, к часовому, и скажет ему два слова. Или ничего не будет делать, а просто сядет на кухне и будет ждать утра. Лукин не знал, что из этого хуже.

Потом на кухне что-то звякнуло — стекло о стекло, — и забулькало, коротко, два раза. Наливали. Потом снова тишина.

Потом шаги — сюда.

Дверь в комнату открылась. На пороге стоял Фальке, в жилете, в рубашке с закатанными рукавами, с керосиновой лампой в одной руке и с двумя стаканами, зажатыми между пальцами, — в другой. В стаканах было что-то прозрачное. Лампа светила снизу, и лицо Фальке было из одних теней: глубокие глазницы, резкие складки у рта, очки, в которых плавали два маленьких жёлтых огонька.

Лукин не шевельнулся. Рука его лежала на кобуре.

— Не спите, — сказал Фальке. Это было не вопрос. — Я так и думал. Солдаты на новом месте не спят первую ночь. Я тоже не спал, в шестнадцатом году, во Фландрии. Ни одной первой ночи.

Он вошёл, поставил лампу на чертёжную доску, рядом с готовальней, и протянул один стакан Лукину.

— Шнапс, — сказал он. — Настоящий. Не тот грушевый сироп, который вам выдают.
— Он помолчал. — Выдавали.

Лукин сел на диване. Взял стакан левой рукой. Правая оставалась на кобуре, и Фальке посмотрел на неё — один раз, мельком, — и ничего не сказал. Он придвинул к дивану стул, сел на него, верхом, лицом к спинке, сложив руки на ней, и стакан держал в сложенных руках.

— Нам надо поговорить, унтер-офицер Штайнер, — сказал он. И, помолчав, добавил:
— Или как вас там.

Глава 4. Условие

Лукин выпил так, как пил всегда, как пили все вокруг него четыре года, как пил отец по праздникам, а дед по праздникам и без: выдохнул в сторону, коротко и шумно, опрокинул стакан одним глотком, задержал дыхание и, не думая, поднёс к носу рукав.

Рукав был сукно шинели Штайнера, и пах он чужим табаком, и Лукин понял, что сделал, только когда уже вдохнул этот запах.

Фальке смотрел на него. Он сидел верхом на стуле, сложив руки на спинке, и его собственный стакан стоял нетронутым у него в ладонях. Он смотрел на рукав. Потом поднял глаза на лицо Лукина. В очках по-прежнему плавали два огонька от лампы.

Он ничего не сказал.

Он сделал глоток из своего стакана — маленький, вежливый, как пьют вино за обедом, — и поставил стакан на пол у ножки стула.

— Хороший шнапс, — сказал он. — Довоенный. Жена покупала в Кранце, у одного рыбака, который гнал его на можжевельнике. Рыбак умер в тридцать восьмом. Жена — в сороковом. Шнапс остался. — Он помолчал. — Вещи всегда переживают людей. Это очень несправедливо, если подумать. И очень удобно. Иначе от людей вообще ничего бы не оставалось.

Лукин держал пустой стакан. Рука его лежала на кобуре. Сердце било так, что он чувствовал его в стакане — в стекле, в пальцах, в доньшке.

Фальке знал. Не догадывался — знал. Человек, который в шестнадцатом году сидел в окопах во Фландрии, а до того, по возрасту, вполне мог воевать и здесь, в Пруссии, в четырнадцатом, — человек, который наверняка видел русских пленных тысячами, видел, как они пьют, как едят, как спят, как крестятся, — этот человек только что увидел, как унтер-офицер вермахта Карл Штайнер из Хайдекруга занюхал шнапс рукавом шинели. И ничего не сказал. И отпил свой глоток, и заговорил о рыбаке из Кранца.

Лукин ждал, что будет дальше. Дальше не было ничего. Фальке смотрел на него спокойно, будто ничего не случилось. Будто они договорились — без слов, вот так, одним этим молчанием, — что ничего не случилось.

— Ещё? — спросил Фальке.

— Нет.

— Правильно. — Фальке кивнул. — Разговор будет длинный. Голова нужна ясная. И вам, и мне.

* * *

Он заговорил не сразу. Сначала сидел, глядя на чертёжную доску, на чистый лист ватмана, будто там было что-то написано и он читал. Лампа гудела. В печи догорало.

— Предположим, — сказал он наконец, — я сейчас расскажу вам одну историю. Не про себя. Про одного человека. Вы её послушаете, как слушают истории — вечером, у печки, когда нечего делать. А потом скажете, что думаете. Как солдат. Как человек со стороны. Хорошо?

— Хорошо.

— Предположим, есть человек. Инженер. Немолодой. Всю жизнь строил железные дороги. Мосты. Ему нравилось строить мосты — это, если хотите знать, лучшее, что может делать человек: соединять то, что было разделено. Кант бы сказал... нет, не будем про Канта. — Фальке снял очки, протёр их краем жилета и надел снова. — И вот этому человеку однажды говорят: рассчитай, как эти мосты взорвать. Не взрывать, нет. Взрывать будут другие, у них свои погоны и свои ведомства. А ты рассчитай. Где заложить заряды, чтобы ферма упала наверняка. Сколько. Какой проводкой. Где подрывная станция. Потому что ты эти мосты знаешь

лучше всех. Ты их строил. Ты их чинил. Ты знаешь, где у них слабое место, — как врач знает, где у человека сердце. — Он помолчал. — Человек рассчитал. Добросовестно. Он всегда всё делал добросовестно. Это его недостаток.

— Почему недостаток?

— Потому что добросовестность не спрашивает, для чего. Она спрашивает только, как. — Фальке посмотрел на Лукина. — Вам это знакомо, унтер-офицер? Вам, наверное, тоже говорили: сделай. И вы делали добросовестно. Не спрашивая, для чего.

Лукин не ответил.

— Предположим дальше. Человек рассчитал всё. Двадцать три моста. Схемы, расчёты, ведомости зарядов. Экземпляры у сапёров, экземпляр у него. А потом, в январе, человек понимает — не сразу, постепенно, как понимают, что болен, — что очень скоро сюда придут. С юга. С востока. Отовсюду. И что эти люди, которые придут, очень захотят знать то, что знает он. Где заряды. Какая проводка. Как обезвредить. Потому что им тоже нужны мосты. Всем нужны мосты. Мосты — это железо, они не служат никому. — Фальке взял с пола свой стакан, повертел в пальцах, не отпивая. — Человек понимает, что за ним придут. Что тогда?

— Он уезжает, — сказал Лукин.

— Куда? — Фальке пожал плечами. — Предположим, ему некуда. Предположим, у него есть кое-что, что держит его здесь. Есть обстоятельства. Предположим, он не может ехать в Кёнигсберг, где его ждут с бумагами, потому что в Кёнигсберге его будут спрашивать не только про бумаги. Что тогда?

Лукин посмотрел на печку. На серые хлопья у изразцов.

— Тогда он сжигает бумаги, — сказал он.

Фальке улыбнулся. Улыбка была короткая и некрасивая, она стянула рот вбок, как шрам.

— Вот видите. Вы понимаете. Вы умный человек, унтер-офицер. Для пехоты — даже слишком умный. — Он кивнул на печку. — Двенадцать дней. Я жёг по вечерам, по одному листу, чтобы не было много дыма. Фрау Брандт думала, что я топлю газетами. Схемы, расчёты, ведомости. Свой экземпляр, весь. — Он сказал это «я», и сам, кажется, этого не заметил. История про «человека» кончилась. — Сапёрные экземпляры, насколько я знаю, остались в Инстербурге, в штабе инженерных войск, а Инстербург сейчас... — он помолчал. — В общем, их, считайте, тоже нет. Я, видите ли, слушаю радио. Не наше. Наше врёт. Английское тоже врёт, но меньше и по-другому.

— Значит, — сказал Лукин, — всё теперь только здесь.

Он не показал — куда. Фальке понял.

— Да. Всё теперь только здесь. — Фальке постучал себя пальцем по виску. Дважды. Звук был сухой, как по дереву. — Двадцать три моста. Каждый заряд, каждый провод. Я помню всё. Я инженер, у меня память на цифры. Цифры не умирают, пока жив тот, кто их помнит. Это, если угодно, моя страховка. Вы понимаете, что это значит?

— Понимаю.

— Нет, вы послушайте. — Фальке наклонился вперёд, через спинку стула. — Это значит, что я нужен. Пока я жив — я нужен. Тем, кто придёт с юга, я нужен живым и разговорчивым. Тем, кто едет сюда из Кёнигсберга, — эсэсовцам, сапёрам, господину Майзелю, которого я, кстати, имею честь знать, — я тоже нужен живым. Пока. Пока я им не расскажу. Потом, вероятно, нет. Ни тем, ни другим. — Он откинулся. — Голова — это единственное, что у меня теперь есть. И я собираюсь её дорого продать.

* * *

Лукин встал.

Он встал, не думая, — тело встало само. Рука вынула из кобуры «вальтер». Он стоял над Фальке в двух носках «M. S.» на голом дощатом полу, в расстёгнутой шинели, с пистолетом, направленным не в голову — ниже, в грудь, в жилет, в то место, где, наверное, лежали часы. Он не помнил, когда снял предохранитель. Он снял его.

— Тогда так, — сказал он. Голос был чужой — тихий, ровный, без книжных оборотов, без Гёте, без пастора. Голос окопа. — Сейчас вы одеваетесь. Тёплое. Мы выходим. Через двор. Не через мост. Вы идёте впереди. Кричите — стреляю. Бежите — стреляю. Падаете — поднимаю. Сколько километров, вас не касается. Ясно?

Фальке смотрел на пистолет. Без страха. С интересом, пожалуй.

— «Вальтер», — сказал он. — Хороший. Унтер-офицерам такие не положены. Только офицерам. Вам стоит подумать над этим, если вы собираетесь долго жить в этой шинели.

— Одевайтесь.

— Нет.

Он сказал это спокойно, как говорят «нет» на предложение второй чашки.

— Я считаю до трёх.

— Не надо до трёх. — Фальке вздохнул. — Вы не выстрелите. Вы не выстрелите не потому, что вы добрый, — я не знаю, добрый вы или нет, и мне это безразлично. Вы не выстрелите, потому что тогда вы пришли сюда зря. Вы прошли сколько? Сто километров? Больше? Вы прошли их ради вот этого. — Он снова постучал по виску. — Вы выстрелите — и всё, что здесь, вытечет на этот пол, и фрау Брандт будет утром отмывать его щёлоком. А вам останется пустой дом, чистый ватман и жандармы, которые уже ищут вас по городу.

Лукин стоял. «Вальтер» в руке был тяжёлым и тёплым.

— А если я вас не застрелю, а уведу? — сказал он.

— Куда? — Фальке пожал плечами, и стул под ним скрипнул. — Через линию фронта? Мне пятьдесят два года. У меня язва, больные колени и сердце, которое в последние месяцы делает вот так, — он постучал по жилету, неровно: раз, раз-раз, пауза, раз. — Девяносто километров, если вы пришли с юга, — а вы пришли с юга, потому что с востока за последние сутки никто не может прийти, там всё горит. По морозу. По дорогам, где жандармы вешают каждого третьего. Я не дойду. Я лягу где-нибудь на пятидесятом километре и не встану, или упаду в канаву и сломаю ногу, или у меня остановится сердце. И вы будете стоять над моим телом, как стояли, вероятно, над другими телами, и думать: зачем я его тащил. — Он помолчал. — Вы ведь стояли над телами, унтер-офицер. Совсем недавно. Я вижу.

Лукин ничего не сказал. Он думал о сугробе у изгороди. Он не хотел о нём думать, но думал.

— А даже если я дойду, — продолжал Фальке тише, — даже если чудом дойду, — то что? Там, куда вы меня приведёте, меня посадят в подвал и будут спрашивать. Двадцать три моста. Я скажу всё, что помню. Конечно, скажу, я не герой. А потом, когда я скажу всё, я стану не нужен. И что тогда со мной будет, вы знаете лучше меня. — Он посмотрел Лукину в глаза. — Но это, видите ли, меня не очень беспокоит. Меня беспокоит другое. Если вы меня уведёте, наверху останется девочка. Одна. Ей десять лет. Через два дня, через три — я не знаю точно, вы знаете лучше меня — сюда придут... — он остановился и выбрал слово, — сюда придут ваши коллеги с юга. Что будет с девочкой?

* * *

Лукин опустил пистолет.

Не потому, что Фальке убедил его. Потому что рука устала держать. Он стоял посреди комнаты, со стволом, направленным в пол, и смотрел на трещину в потолке, извилистую, как река.

Что будет с девочкой.

Он видел то, что видели все, кто дошёл до этой земли. Он видел хутора, где лежали люди — у порогов, в постелях, в погребках. Он видел женщин, которые смотрели не на тебя, а сквозь тебя, и это было хуже любого крика. Он видел, как один старший лейтенант, командир роты, хороший, смелый, который под Ржевом вынес его, Лукина, раненого, на себе — три километра на себе, — этот старший лейтенант сидел на пороге немецкого дома, держа в руке чужую фарфоровую чашку с розочками, и пил из неё самогон, а из дома доносилось то, о чём потом никто не говорил. Он видел. Он не смотрел. Он отворачивался и шёл дальше, и думал: Липки. Липки. Липки. Это было как заклинание. Так дети закрывают глаза, чтобы стать невидимыми.

Он думал о девочке наверху, с косами на тряпочках, с куклой, которая не здоровается с солдатами.

— Вы спрашиваете меня, — сказал он, глядя в потолок, — что будет с вашим ребёнком.

Голос у него сорвался на последнем слове, и он замолчал, потому что следующее, что он сказал бы, было бы уже не про девочку и не про Фальке. Следующее было бы про Таню. Про мать. Про Липки, про сарай на краю деревни, про который Дуся написала в письме два предложения, всего два, и он помнил их наизусть, и никогда не произносил вслух, ни по-русски, ни на одном языке.

Он не сказал этого. Он положил «вальтер» на чертёжную доску, рядом с готовальной. Сел на диван. Взял с пола пустой стакан, посмотрел в него и поставил обратно.

— Я не знаю, — сказал он. — Честно. Не знаю. Может быть, ничего не будет. Может быть, её никто не тронет. Может быть, её отправят куда-нибудь, в детский дом. А может быть...

— Может быть, — сказал Фальке.

— Да.

Фальке долго молчал. Потом встал со стула, подошёл к доске, взял «вальтер» — двумя пальцами, за ствол, как берут что-то грязное, — и протянул его Лукину рукояткой вперёд.

— Уберите, — сказал он. — Это не тот разговор.

Лукин взял пистолет и убрал в кобуру. Предохранитель он поставил на место. Он не помнил, когда снял его, но запомнил, когда поставил.

* * *

— Теперь слушайте, — сказал Фальке и снова сел верхом на стул. — Я сделаю вам предложение. Не вам — тому человеку, про которого мы говорили, который пришёл за головой. Вы его, может быть, знаете. Передадите.

— Передам.

— Голова продаётся. Цена — поезд.

Он сказал это так просто, что Лукин не сразу понял.

— Поезд?

— Место в поезде. Для девочки. И для фрау Брандт, она поедет с ней, у неё в Штеттине племянник, или был племянник, — неважно, она её довезёт. Поезд на запад. Через Кёнигсберг, на Пиллау, оттуда — пароходом в Рейх, или по косе на Данциг, или как угодно. Лишь бы на запад. Лишь бы прочь отсюда. — Фальке говорил быстро, деловито, будто зачитывал техническое задание. — Завтра к ночи, если повезёт, через Вальдхайм пройдёт поезд с ранеными из Алленштейна. Я смогу посадить в него Лизу и Марту. У меня есть права. Я — Рейхсбан. — Он усмехнулся. — Пока ещё.

— А схема?

— Схему вы получите у поезда. Когда Лиза сядет в вагон. Когда двери закроются, и паровоз даст гудок, и состав тронется. В эту минуту — не раньше — я начну говорить. Вы получите

всё. Двадцать три моста. Я продиктую или начерчу, как вам удобнее. Хотите, наизусть выучите. — Он помолчал. — А потом делайте со мной что хотите. Ведите через линию. Стреляйте. Сдавайте жандармам. Мне будет всё равно. Честное слово, всё равно.

Лукин смотрел на него. На седые коротко стриженные волосы, на очки, на руки, сложенные на спинке стула, — большие, с тёмными суставами. На значок, которого сейчас не было на жилете, но который висел в прихожей, на чёрном пальто. Член партии с тридцать седьмого года. Обер-инспектор. Человек, рассчитавший двадцать три смерти для двадцати трёх мостов. Продающий их врагу — Лукин не мог иначе назвать себя, хотя Фальке так его не называл, — продающий их за место в поезде для чужой девочки. Сироты. Племянницы.

Он почувствовал что-то похожее на презрение и что-то похожее на зависть, и не мог разобрать, где кончается одно и начинается другое.

— Почему я должен вам верить? — спросил он.

— А почему я должен верить вам? — сказал Фальке. — Вы можете получить схему у поезда и тут же сдать меня жандармам. Или застрелить. Или Лизу снять с поезда — нет, этого вы не сделаете, вам это не нужно. Но остальное — можете. Мы оба рискуем. Это называется сделка. — Он подумал. — Хотя нет. Это называется война. Сделка — это когда у сторон есть выбор. У нас его нет.

— У вас есть. Вы можете дожидаться этого... Майзеля. Уехать с ним в Кёнигсберг. Рассказать всё ему.

Фальке посмотрел на него долгим взглядом. Потом встал, подошёл к окну, отодвинул край шторы и посмотрел на мост. На бочку, где горел огонь. На часового.

— Если я уеду с Майзелем, — сказал он, не оборачиваясь, — Лиза останется здесь. С Мартой, на какое-то время. Потом одна. Майзель не возьмёт ребёнка в машину. Майзель вообще не знает, что такое ребёнок, он, по-моему, родился сразу в форме. — Он отпустил штору. — А в Кёнигсберге меня спросят, почему я сжёг бумаги. И почему не явился. И ещё кое о чём, что вас не касается. И на это у меня нет ответа, который бы им понравился.

Он вернулся к стулу, но не сел, а встал за ним, положив руки на спинку.

— И ещё одно. Майзелю я нужен, чтобы мосты упали. Вам я нужен, чтобы мосты стояли. — Он помолчал. — Я их строил, понимаете? Чинил. Тридцать лет. Я знаю каждую заклёпку. Я не хочу, чтобы они падали. Это не политика. Мне плевать на политику. Это — как бы вам объяснить... Вот вы учились по книгам. По Гёте, по Шиллеру. Если бы вам сказали, что завтра все книги, по которым вы учились, сожгут, — а вы знаете, где их спрятать, — что бы вы сделали?

— Книги жгли у вас, — сказал Лукин. — Не у нас.

Он сказал это раньше, чем подумал. «У вас — не у нас». Он услышал это, как слышат стук упавшего предмета в тихой комнате.

Фальке тоже услышал. Он стоял за стулом и смотрел на Лукина, и лицо его не изменилось. Только пальцы на спинке стула чуть сжались, побелели в суставах.

— Да, — сказал он медленно. — У нас. В тридцать третьем. Я помню. Я тогда подумал: это пройдёт. Это дурь, молодые, студенты. Это пройдёт. — Он отпустил спинку. — Видите, как я хорошо разбираюсь в людях.

Больше он ничего не сказал про «у вас» и «у нас». Он сел, подобрал с пола свой стакан, допил его — одним глотком, но не так, как Лукин, а по-своему, запрокинув голову, — и поставил обратно.

— Я не хочу знать, кто вас послал, — сказал он. — Слышите? Не говорите мне. Ни сейчас, ни потом. Пока вы для меня — унтер-офицер Штайнер из Хайдекруга, которому в комендатуре дали мой адрес, я могу на любом допросе, у любой стороны, честно сказать: я не знал. А как только вы скажете — я буду знать. И тогда я соучастник. И Лиза тоже. И Марта. — Он посмотрел на потолок, туда, где наверху спала девочка. — Есть вещи, которые лучше не знать. Кант бы со мной не согласился. Но Кант, я говорил, жил в другом веке.

— Хорошо, — сказал Лукин.

— Хорошо?

— Я — Штайнер. Из Хайдекруга. Вам дали адрес в комендатуре.

— Отлично. — Фальке кивнул. — Тогда утром я выпишу вам бумагу. Со штампом дистанции. Унтер-офицер Штайнер прикомандирован к обер-инспектору Фальке для сопровождения и охраны служебной документации при эвакуации. Подпись, печать. Жандармы любят печати. Им можно показать печать вместо головы, они удовлетворятся. — Он снова усмехнулся своей кривой усмешкой. — Видите, я даже не вру. Вы действительно будете сопровождать служебную документацию. Только она у меня не в портфеле.

* * *

Они сидели ещё долго. Лампа начала коптить, и Фальке подкрутил фитиль. Они почти не разговаривали. Один раз Фальке встал, принёс из кухни кусок хлеба — настоящего, не того, с опилками, а из каких-то своих запасов, — разломил пополам, и они съели его молча. Один раз наверху, над потолком, скрипнула кровать, и Фальке поднял голову и прислушался, и сидел так, неподвижно, с поднятой головой, пока скрип не затих. Лукин видел его лицо в эту минуту. Он отвернулся.

Около пяти Фальке снова достал часы.

Он не заводил их — завёл вечером, — он просто открыл крышку и посмотрел. Лукин увидел циферблат вблизи: белая эмаль, тонкие чёрные римские цифры, маленькая секундная стрелка в отдельном кружке внизу. На внутренней стороне крышки было что-то выгравировано, мелко, косыми буквами, и Лукин не разобрал.

— Хорошие часы, — сказал он.

— Хорошие. — Фальке закрыл крышку. — Жена подарила. На двадцать пятую годовщину свадьбы. В тридцать девятом. Год был неудачный для подарков. — Он подержал часы в ладони, словно взвешивая. — Они отставали. Последние годы. На две минуты в сутки. Я отдавал их в чинку, одному мастеру. Он их перебрал. С тех пор — ни секунды. Хороший был мастер.

— Был?

— Был, — сказал Фальке и убрал часы в жилет.

* * *

Стук раздался в шестом часу, когда за окном ещё было черно, но чернота уже начала синеть по краям. Стучали в заднюю дверь, со двора: три раза, пауза, ещё два. Фальке встал сразу, будто ждал, и Лукин тоже встал, и рука его снова легла на кобуру, и Фальке, проходя мимо, коротко покачал головой: не надо.

Лукин остался в комнате. Он стоял у двери и слушал. Скрип засова. Шёпот. Мужской голос, старческий, дребезжащий, взволнованный. Фальке — коротко, тихо. Снова старик, быстро, сбивчиво. Лукин разобрал несколько слов: «телеграф... ночью... Алленштейн... танки... всё...» Потом Фальке сказал что-то, и старик замолчал. Скрип засова. Шаги по снегу во дворе, удаляющиеся.

Фальке вернулся в комнату. Он остановился на пороге. Лицо у него было серое, как у всех на дороге вчера утром, и Лукин подумал, что так, наверное, выглядит человек, у которого из-под ног выдернули мост.

— Шольц, — сказал Фальке. — С вокзала. Он у нас начальник станции, вернее, всё, что осталось от начальника станции. Телеграф передал. Алленштейн взят. Этой ночью. Русские

танки на вокзале. Состав с ранеными, который должен был идти к нам, — там, на путях. Не вышел.

Он прошёл к столу и сел на стул — нормально, не верхом.

— Поезда не будет, — сказал он.

Лукин молчал. Он думал о том, что, должно быть, это его собственная армия, его собственные танки стоят сейчас на вокзале в Алленштейне. Что там, на перроне, может быть, ходит Сафронов со своим подстаканником, и радист в наушниках слушает пустоту на частоте «Ольхи». И что от этого ему, Лукину, — здесь, в доме с зелёными ставнями, в чужой шинели, — не стало ни лучше, ни хуже, а стало как-то по-другому, чему он не знал названия.

— Значит, — сказал он, — следующий поезд.

— Следующий — только из Кёнигсберга, — сказал Фальке. — Или с какой-нибудь станции рядом с ним. Здесь, через Вальдхайм, больше ничего не пойдёт. Линия на юг перерезана. С севера никто не поедет туда, где русские. Наш паровоз в депо можно разжечь, но угля нет на сорок километров, а дров не наберёшь столько, сколько нужно. — Он потёр лоб. — Сорок шесть километров. Пешком. С обозом. С ребёнком. С Мартой, которой шестьдесят восемь лет. И с господином Майзелем, который, судя по всему, будет здесь сегодня к ночи или завтра утром.

— Условие остаётся? — спросил Лукин.

Фальке поднял на него глаза.

— Условие остаётся, — сказал он. — Поезд. Вагон. Двери закрываются. Тогда — говорю. Не раньше.

— Даже если поезд будет в Кёнигсберге?

— Даже если поезд будет на луне. — Фальке встал. — Я пойду разбужу Марту. Нам надо собраться к завтрашнему утру. В ратуше говорили — завтра в восемь уходит обоз. Последний организованный. Потом — только кто как сможет.

Он остановился у двери.

— Вы, — сказал он, — в восемь утра у ратуши. С бумагой. Со штампом. — Он помолчал. — И перестаньте нюхать рукав, унтер-офицер. В Хайдекруге так не делают. Я там бывал.

Он вышел. Лукин услышал, как скрипят ступеньки — вверх, на второй этаж, где спала девочка, — медленно, тяжело, с остановкой на середине. На середине Фальке постоял, держась, наверное, за перила, и Лукин слышал его дыхание сквозь стену — частое, неровное, раз, раз-раз, пауза. Потом шаги пошли дальше.

За окном синело. На мосту, у бочки, сменился часовой. Огонь в бочке почти погас, и новый часовой, тоже старик, подкладывал в него щепки — одну, другую, — и раздувал, наклонившись, и огонь неохотно разгорался.

Глава 5. Молитва во сне

Кофейную мельницу Марта Брандт завернула в шерстяной чулок и положила на самое дно узла, под бельё.

Мельница была старая, ещё материна, с деревянным ящичком и латунной ручкой, вытертой до блеска пальцами трёх поколений. Кофе в ней не мололи с тридцать девятого года — настоящего кофе не было, а ячмень и цикорий Марта толкла в ступке, жалея мельницу. Брать её было глупо. Тяжёлая, громоздкая, бесполезная. Марта знала это. Она подержала мельницу в руках, понюхала ящичек — он до сих пор, через пять лет, едва-едва пах кофе, настоящим, тем, который Вильгельм привозил из Данцига к Рождеству, — и завернула в чулок.

Господь простит, подумала она. Господь простит старой женщине одну глупость. Их и так немного осталось.

Над узлом она стояла уже второй час. Узел был — простыня, расстеленная на полу в кухне, и на ней лежало то, что она отобрала. Бельё: две смены. Шерстяная кофта. Валенки, вторые. Платок, ещё один, на смену. Хлеб, три буханки, завернутые в полотенце. Сало, кусок. Банка смальца. Мешочек с сухарями. Псалтирь в чёрном коленкоре, с медными уголками, с её девичьей фамилией на форзаце, выведенной матерью: «Марта Ленц, в день конфирмации, 1891». Фотография Вильгельма в почтмейстерской фуражке, вынутая из рамки, — рамка была тяжёлая, серебряная, Марта долго стояла с ней в руках, а потом положила рамку обратно на комод, лицом вниз. Пусть лежит. Кому-нибудь достанется.

И мельница.

Всё остальное оставалось. Дом сестры — сестра умерла позапрошлой весной, и дом стоял пустой, пока Марта не приехала сюда в августе с одним чемоданом из горящего Кёнигсберга. Сестрины вещи: буфет с посудой, комод, кровать с пуховой периной, сундук с приданым, которое сестра так и не пустила в ход, потому что так и не вышла замуж. Швейная машинка. Часы с кукушкой, которые не работали уже лет двадцать, потому что кукушка однажды выскочила и не вернулась, и сестра сказала: так ей и надо. Фикус. Собственно, всё это Марте никогда не принадлежало. Она пять месяцев жила среди чужих вещей и только теперь, собираясь их бросить, поняла, что успела к ним привыкнуть. Каждая чашка в буфете смотрела на неё, как смотрит собака, которую оставляют на цепи.

Вещи переживают людей, сказал как-то Отто. Это было, кажется, на Рождество, когда они сидели у его печки и пили его можжевельниковый шнапс, и Лиза спала наверху, и он говорил о своей Грете. Вещи переживают людей. Так и есть. Только теперь, подумала Марта, теперь и вещи тоже умирают. Их бросают на дорогах, жгут, разбивают, растаскивают. Теперь никто никого не переживёт.

Она затянула узел, завязала концы простыни крест-накрест, как завязывала свой платок, и попробовала поднять. Тяжело. Можно. Если не думать о мельнице.

* * *

Из окна кухни был виден двор Отто, за низким забором, и сарай, и колода у сарая. У колоды стоял солдат и колот дрова.

Она смотрела на него, вытирая руки о передник, хотя руки были сухие. Солдат колот её дрова — те, что сложены у забора, её, сестрины, — потому что Отто ещё утром сказал ему: «Помогите фрау Брандт, у неё некому», — и солдат молча кивнул и пошёл. Он снял шинель и повесил её на гвоздь у двери сарая, остался в одном кителе, несмотря на мороз, и колот. Марта смотрела. Она видела, как колют дрова мужчины, всю жизнь. Вильгельм колот плохо: размахивался, как будто хотел убить полено, и попадал по краю, и щепки летели во

все стороны, и он ругался. Сестрин сосед, старый Кох, колол медленно, с перекурами. Этот солдат колол так, как колют крестьяне. Без размаха — топор поднимался невысоко и падал сам, под своей тяжестью, а солдат только направлял. Полено раскалывалось с первого удара, чисто, по волокну, две половинки отваливались в стороны, и солдат, не глядя, ставил на колоду следующее. Ни одного лишнего движения. Будто он делал это всю жизнь.

Хайдекруг, подумала Марта. Там тоже деревни. Литовцы. Мать у него литовка, говорят.

Она не верила ему. Она не верила ему со вчерашнего вечера, с той минуты, как вошла с дровами и увидела его у печки, на табурете, с закрытыми глазами, — и он открыл их и встал, когда увидел её, встал как вскакивают мальчишки перед учительницей, а не как встают солдаты перед старухами. Солдаты перед старухами не встают. Не верила, когда он сидел за столом и ел, не помолвившись, — не сложив рук, не опустив головы, не шевельнув губами, — просто взял вилку и стал есть. Отто тоже не молится перед едой, Отто вообще ни во что не верит, кроме своих мостов и своего Канта, но Отто хотя бы ждёт, пока она, Марта, прочитает про себя «Приди, Господи Иисусе, будь нашим гостем». А этот не ждал. Он не знал, что надо ждать.

Не верила, когда она сказала про жандармов, а Отто сказал — у нас дезертиров нет.

И всё-таки сейчас, глядя, как он колет её дрова, Марта чувствовала стыд. Не за него — за себя. Потому что думать о человеке плохо, когда он колет тебе дрова, — это грех. Небольшой, но грех. Пастор Ример в Кёнигсберге, в её старой кирхе, говорил: мы судим людей по тому, что о них знаем, а Господь — по тому, что они делают. Пастор Ример говорил много хорошего. Пастора Римера забрали в тридцать седьмом, за проповедь, и Марта не пошла к его жене, когда это случилось, потому что все не пошли.

Солдат расколол последнее полено, воткнул топор в колоду и выпрямился. Постоял, глядя куда-то на юг, поверх сарая, поверх крыш. Марта знала, что он там слышит. Она тоже это слышала — с утра, глухо, далеко. Как будто на юге, за лесом, кто-то огромный неторопливо двигал мебель.

Потом солдат начал складывать поленья в поленницу у её забора. Складывал аккуратно, одно к одному, корой вверх.

Марта отошла от окна.

* * *

Отто пришёл к ней в два часа, когда она уже поставила узел у двери и сидела на кухне, ничего не делая, сложив руки на коленях, — так сидят, когда всё сделано, а уходить ещё рано. Он вошёл без стука, как входил всегда, отряхнул сапоги на пороге и сел напротив.

Он плохо выглядел. Марта знала его пять месяцев — и знала его лучше, чем знала покойного мужа за сорок лет брака, потому что Вильгельм был человек простой и всё, что у него было внутри, было и снаружи, а у Отто внутри было много такого, что наружу не выходило. Она научилась это видеть. Сейчас у него было серое лицо и красные глаза, и он держал руки в карманах пальто, — а он всегда держал руки на виду, на столе, на коленях, как держат инструменты, — и она поняла, что он не спал.

— Собралась? — спросил он.

— Собралась.

— Что берёшь?

— Что надо. — Она помолчала. — Мельницу беру.

Он посмотрел на неё, и уголок его рта дрогнул.

— Мельницу. Ну конечно.

— Не смейся.

— Я не смеюсь. — Он вынул руки из карманов и положил их на стол. Вот так. Так лучше. — Марта, слушай. Завтра в восемь у ратуши. Обоз. Пойдём с ним до Кёнигсберга, сколько получится. Там будет поезд, на Пиллау. Ты сядешь в него с Лизой. Я вас посажу.

— А ты?

— А я потом.

— Что значит — потом?

— Потом значит потом. — Он посмотрел в окно, на свой двор, на сарай, на колоду с воткнутым в неё топором. — У меня дела. Служебные. Мне надо... кое-что передать.

— Кому?

Он не ответил. Марта проследила его взгляд. Солдата у сарая уже не было. Шинель с гвоздя тоже исчезла.

— Отто, — сказала она. — Этот солдат...

— Что?

Она хотела сказать: «Я ему не верю». Хотела сказать: «Он не крестится, не молится, он встаёт перед старухами, он колет дрова как мужик, его ищут жандармы, и ты знаешь, кто он, ты сам вчера сказал — догадываюсь». Хотела сказать: «Ты что-то затеял, Отто Фальке, что-то страшное, я вижу по твоим глазам, — и ты затеял это из-за девочки».

Она не сказала ничего из этого.

— Он хорошо колет дрова, — сказала она.

— Да. — Отто встал. — Я заметил.

Он постоял ещё секунду, глядя на неё сверху вниз. Потом наклонился и сделал то, чего не делал никогда за пять месяцев: положил ей руку на плечо. Рука была тяжёлая и тёплая. Через шерстяную кофту Марта чувствовала, как дрожат его пальцы.

— Спасибо тебе, Марта, — сказал он. — За всё.

— За что — за всё? Я ещё ничего не сделала.

— Сделаешь, — сказал он и ушёл.

* * *

Ночевать Марта пошла к нему. Так было решено с утра: обоз уходит в восемь, Лизу надо собрать, накормить, одеть, а у Отто руки не к тому приставлены, и лучше, если Марта будет рядом с девочкой с самого утра. Отто постелил ей в Лизиной комнате, на раскладной кровати, которую принёс с чердака, — узкой, с провисшей парусиной, пахнущей пылью и мышами. Солдат остался внизу, на диване. Отто — у себя.

Лизина комната была маленькая, под самой крышей, со скошенным потолком, и единственное окно в ней смотрело на мост. Обои светлые, в мелкий голубой цветочек. Кровать с медными шишечками. Комод. На комод — Лизины рисунки, стопкой, придавленные камнем. Марта знала эти рисунки. Она видела их десятки, сотни. Все одинаковые: дом, дерево, солнце. Иногда — кошка. Иногда — Труды, кукла, в виде кружочка с ножками. Всегда — синяя дверь.

Лиза заснула быстро. Она устала за день: сначала Марта водила её в баню при депо, где ещё оставалась горячая вода, и мыла её в последний раз — Марта так и думала, «в последний раз», хотя не знала, почему, — потом собирали Лизины вещи, потом Лиза плакала, потому что Отто сказал, что брать можно только одну игрушку, а у неё была ещё деревянная лошадка, и она не могла выбрать между лошадкой и Труды, и выбрала Труды, а потом весь вечер ходила и гладила лошадку, и в конце концов Отто сказал: ладно, бери обе. И Лиза перестала плакать, и сразу заснула, обняв Труды, а лошадка стояла на комод, на стопке рисунков, рядом с камнем.

Марта лежала на раскладной кровати и не спала. Парусина провисла под ней до самого пола, и она лежала, как в гамаке, не в силах повернуться. Было холодно. Отто топил только внизу, наверх тепло доходило через пол, но к полуночи пол остыл. Марта лежала, натянув

одеяло до подбородка, и слушала. Слушала, как дышит Лиза. Как на юге, за лесом, двигают мебель — теперь ближе, отчётливее, и иногда между тяжёлыми ударами пробивалась частая дробь, будто кто-то стучал пальцами по столу. Как внизу, под полом, скрипит диван: солдат тоже не спал.

Она начала молиться — про себя, как всегда перед сном. «Отче наш». Потом «Господь — Пастырь мой». Потом, по привычке, имена: Вильгельм, упокой его. Сестра Анна, упокой её. Мать, отец. Пастор Ример — она не знала, жив он или нет, и молилась за него как за живого, на всякий случай, Господь разберётся. Отто. Лиза. Племянник Курт в Штеттине, если он ещё в Штеттине. Солдат внизу — она подумала и помолилась и за солдата, кто бы он ни был. Господь разберётся.

На солдате она уснула.

* * *

Её разбудил голос.

Она не сразу поняла, где она. Темнота, скошенный потолок, холод, парусина под спиной. Потом поняла. Лизина комната. Ночь. И голос — тихий, детский, бормочущий, совсем рядом, в трёх шагах, с кровати с медными шишечками.

Лиза говорила во сне.

Это было не странно. Дети говорят во сне. Лиза говорила и раньше — Марта несколько раз ночевала у Отто, когда он уезжал на дистанцию, и слышала, как девочка бормочет что-то про Трудю, про кошку, про снег. Марта уже хотела повернуться на бок — если получится в этом гамаке — и снова заснуть.

И тут она услышала слова.

Это были не немецкие слова. Это были не литовские слова — литовский Марта слышала, на рынке в Кёнигсберге, где торговали литовские крестьяне, и знала, как он звучит: певуче, с длинными гласными. Это было другое. Гортанное, с придыханием, с горловыми «х», какие бывают у человека, когда он откашливается. Лиза говорила быстро, ровно, нараспев, как говорят выученное, как Марта в детстве читала катехизис:

— Шма, Израэль...

Дальше слов Марта не разобрала. Дальше было ещё несколько слогов, таких же гортанных, ровных, нараспев, и они повторились — Лиза сказала всё это ещё раз, с начала, — и потом, другим голосом, тонким, жалобным, совсем детским, одно слово:

— Мамэ.

И ещё что-то, по-другому, мягче, почти по-немецки, но не по-немецки, — что-то, в чём Марта узнала только отдельные слоги, похожие на немецкие слова, искажённые, как отражение в кривом зеркале.

Потом Лиза вздохнула и замолчала. Повернулась на другой бок, к стене. Задышала ровно.

Марта лежала, не шевелясь. Она не дышала. Она лежала и слушала, как стучит у неё в ушах кровь, и знала эти слова.

Она знала их.

Не знала, что они значат. Никогда не знала. Но слышала. Один раз. Шесть с лишним лет назад, в ноябре тридцать восьмого года, ночью, на Линденштрассе в Кёнигсберге, где она прожила тридцать лет, в доме номер четырнадцать, на втором этаже, окнами на улицу. Напротив, через улицу и немного наискосок, стояла синагога. Большая, с куполом, красивая — Вильгельм говорил, что красивее многих кирх, и Марта сердилась на него за это.

В ту ночь Марта проснулась от звона стекла. Встала, подошла к окну. Отодвинула штору.

Синагога горела. Не вся — сначала только окна нижнего этажа, из которых вырывался огонь, и люди в коричневом, человек двадцать, ходили вокруг и бросали в окна что-то, и сме-

ялись. На мостовой лежали книги — много книг, и свитки, и какие-то тряпки, и всё это тоже горело, и пожарная машина стояла на углу, и пожарные курили и смотрели, и не делали ничего. Вокруг стояли люди. Соседи. Её соседи — фрау Кениг из девятого дома, герр Матцат из лавки, молодая чета с первого этажа. Стояли в пальто, накинутых на ночные рубашки, и смотрели. Некоторые смеялись. Большинство — нет. Большинство просто смотрели.

И на мостовой, прямо под её окном, на коленях, стоял старик.

Он был в чёрном, без шапки, с длинной седой бородой, и борода с одной стороны была опалена — Марта видела, как она закурчавилась и почернела. Он стоял на коленях на мостовой, и раскачивался, и говорил что-то — громко, нараспев, гортанно, с горловыми «х». Он повторял это снова и снова, одно и то же, раскачиваясь, и один из коричневых подошёл к нему и пнул его в спину сапогом, и старик упал лицом на мостовую, и поднялся на колени, и снова стал раскачиваться и говорить. Шма, Израэль. Шма, Израэль. Марта слышала это сквозь стекло, сквозь двойные рамы, сквозь треск огня и смех.

Она простояла у окна, может быть, минуту. Может быть, меньше. Вильгельм позвал её из спальни: «Марта, что там? Иди ложись, не наше дело». И она задёрнула штору.

Задёрнула штору и пошла ложиться. И легла. И лежала до утра, слушая сквозь штору треск, и голоса, и звон стекла, и не вставала больше. А утром пошла на рынок другой дорогой, чтобы не идти мимо. А потом, через месяц, когда развалины синагоги разобрали и на их месте сделали площадку, она ходила мимо каждый день и не смотрела.

Она не знала, что стало со стариком. Она никогда не спрашивала.

Она никогда никому об этом не рассказывала. Ни на исповеди, ни Вильгельму, ни сестре. Это была не тайна. Это было хуже, чем тайна. Тайну можно рассказать. А это — что она простояла у окна минуту и задёрнула штору — было не о чем рассказывать. Ничего не произошло. Она ничего не сделала.

Шма, Израэль.

* * *

Марта лежала до рассвета.

Сначала она лежала в гамаке парусины, потом выбралась из него — это было трудно, стыдно, со стоном, — и села на край, и сидела, глядя на кровать с медными шишечками, на спину девочки под одеялом, на тёмную косу, лежащую на подушке. Труды торчала из-под Лизиного подбородка, тряпичной ногой наружу.

Она думала.

Она думала медленно, как всегда думала, — так, как вяжут: петля за петлёй, ряд за рядом, и рисунок проявляется не сразу, а потом, когда уже много связано, и тогда видишь его целиком и удивляешься, как не видела раньше.

Мемель. Девочка из Мемеля, которая не помнит Мемеля. Ни одной улицы, ни моря, ни маяка, ни кирхи. Отто говорит: дети забывают. Шестилетние не забывают моря. Марта сама в шесть лет впервые увидела море, в Кранце, и помнила его до сих пор — серое, холодное, с белыми гребнями, и как мать держала её за руку, и как пахло рыбой.

Синяя дверь. Таких не бывает, сказала она вчера. Бывают, сказала Лиза. И Отто встал из-за стола — резко, со скрипом, — Отто, который никогда ничего не делал резко.

Сорок второй год. Отто приехал в Вальдхайм в августе, как и Марта, — но племянница появилась у него раньше, в Кёнигсберге, она это знала от него самого. Когда? Он говорил: «Два с половиной года назад». Летом сорок второго. Летом сорок второго года, Марта помнила, — в Кёнигсберге тогда говорили, тихо, на кухнях, на рынке, — летом сорок второго года последних евреев, которые ещё оставались в городе, собрали и куда-то увезли с товарной станции. В трудовые лагеря, говорили. На Восток. Говорили — и больше не говорили, и никто никогда

не спрашивал, куда именно и почему никто не вернулся. Как никто не спрашивал о старике на мостовой.

Двери в Кёнигсберге бывали синие. Марта вдруг вспомнила. На Штайндамме, или на Трагхайме, — где-то там была мастерская, маленькая, полуподвальная, с вывеской в виде часов и с синей дверью. Синей, как чернила. Марта однажды носила туда часы Вильгельма. Мастер был маленький, в ермолке, в лупе, вставленной в глаз, и говорил по-немецки правильно, медленно, тщательно, как говорят на чужом языке очень вежливые люди. Он починил часы за два дня и взял недорого. Потом вывеску закрасили. Это было до войны или в начале — Марта не помнила. Она не помнила, когда перестала видеть синюю дверь. Её просто однажды не стало.

Марта не знала, связано ли это. Может быть, нет. Может быть, синих дверей в Кёнигсберге было сто.

Но Шма, Израэль — было одно.

Она сидела на краю раскладной кровати, сложив руки на коленях, в шерстяных носках, в ночной рубашке, с наброшенной на плечи кофтой, и смотрела на спину спящей девочки. И думала теперь о другом.

О законе. Закон был ясен. Марта прожила жизнь по закону. Её муж был почтмейстер — государственный человек, чиновник, — и сорок лет он приходил домой и говорил: порядок есть порядок. Укрывательство евреев — это преступление. За это расстреливают. Не только того, кто укрывал, — расстреливают и тех, кто знал и не донёс. Она знала это. Все это знали. Плакаты висели. Сейчас, когда всё рушилось, когда на юге двигали мебель, — закон всё ещё был. Жандармы с цепями ходили по домам. Жандармы искали дезертира. Жандармы вешали.

О страхе. Если она промолчит — она соучастница. Если узнают — её расстреляют вместе с Отто. Ей шестьдесят восемь лет. Она не хотела умирать. Она хотела доехать до Штеттина, до племянника Курта, сесть у его печки и пить его эрзац-кофе, смолотый в её мельнице, и дожить там, сколько Господь даст.

О Боге. Бог тоже был ясен. Пастор Ример говорил: «Что вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Пастора Римера забрали. Марта не пошла к его жене.

О старике. О том, что тогда она простояла у окна минуту и задёрнула штору.

Девочка во сне повернулась опять — на спину, раскинув руки, — и Труды упала с кровати на пол. Марта нагнулась, подняла куклу и положила обратно, Лизе под руку. Рука Лизы во сне нащупала куклу и сжала её. Пальцы у Лизы были тонкие, с обгрызенными ногтями, с пятнами синего карандаша на подушечках. Синего. Она красила синим дверь.

Марта сидела и держала свою руку рядом с Лизиной, не касаясь.

Ей не нужно было ничего решать. Она поняла это где-то перед рассветом, когда окно начало сереть и на мосту перекликнулись часовые. Ей не нужно было ничего решать, потому что решать было нечего. Всё было решено давно — Отто решил, два с половиной года назад, когда взял девочку к себе. Отто решил, и Отто сжигал бумаги по вечерам, по одному листу, и Отто вчера смотрел на солдата, про которого «догадывается», и молчал, и Отто вчера положил ей руку на плечо и сказал «спасибо за всё». Отто решил всё за всех. Ей оставалось только одно: решить, будет ли она частью этого. Или задёрнет штору.

Шторы на этом окне не было. Окно было голое, маленькое, в инее по краям. За ним был мост, и бочка с огнём, и серое небо над лесом.

* * *

Утром она разбудила Лизу в шесть, как договаривались. Помогла ей одеться: две пары чулок, шерстяные рейтузы, платье, кофта, ещё кофта, пальто, платок, шапка поверх платка, варежки на резинке. Лиза была сонная, вялая, как тряпичная Труды, и позволяла делать с собой всё, что угодно, — поднимала руки, когда надо, наклоняла голову. Марта посадила её на кро-

вать и стала заплетать косы. Волосы у Лизы были густые, тёмные, жёсткие, чуть выющиеся на концах. Марта заплетала туго, как заплетали ей в детстве, чтобы хватило на несколько дней.

В дверях появился Отто. Он был уже одет — в чёрное пальто с бархатным воротником, со значком на лацкане, в шляпе. В руке у него был портфель.

— Готовы? — спросил он.

— Почти, — сказала Марта.

Она заплетала. Левую косу. Три пряди. Правая через среднюю, левая через среднюю. Правая. Левая. Её пальцы двигались сами, а голос, когда она заговорила, был спокойный, буднично-тихий, такой, каким она говорила с ним сто раз — о дровах, о хлебе, о том, что у Лизы опять порвались чулки.

— Отто, — сказала она, — девочку надо научить молиться.

Он стоял в дверях. Она не смотрела на него — смотрела на косу.

— По-нашему, — сказала она. — «Приди, Господи Иисусе». Перед едой. На людях. Чтобы видели. В дороге будет много людей. Будут смотреть. Надо, чтобы видели, что она молится, как все.

Отто молчал.

Марта завязала косу тряпочкой. Взялась за правую. Три пряди. Её пальцы не дрожали. Она так и думала, что не будут дрожать. Пальцы старых женщин, которые всю жизнь вязали и плели, не дрожат, даже когда всё внутри дрожит.

— И ещё, — сказала она. — Пусть спит со мной. В дороге. Не с тобой и не одна. Со мной. Я сплю чутко. Если она начнёт разговаривать во сне — я её разбужу. Или прикрою. Мало ли кто рядом будет.

Тишина в дверях стала такой плотной, что, казалось, её можно потрогать.

Марта завязала вторую косу. Положила обе Лизе на плечи. Поправила шапку. Лиза, ничего не понимая, сонная, смотрела на неё своими огромными тёмными глазами и зевала.

Тогда Марта подняла голову и посмотрела на Отто.

Он стоял в дверях, в пальто, в шляпе, с портфелем в руке. Лицо у него было такое, какого Марта не видела у него никогда: белое, неподвижное, и губы под седыми усами сжаты, и глаза за очками — не серые, а почти чёрные, потому что зрачки стали огромными. Он смотрел на неё, как, наверное, смотрит человек, который всю жизнь стоял на мосту и только сейчас узнал, что мост держится не на опорах, которые он рассчитал, а на чём-то другом, о чём он не подозревал.

Он ничего не сказал. Он очень медленно наклонил голову. Один раз. Это был не поклон и не кивок — что-то между. Потом повернулся и пошёл вниз, по лестнице, и Марта слышала, как он остановился на середине, как вчера, и стоял там, держась за перила, долго, и дышал.

— Тётя Марта, — сказала Лиза, — а мы куда?

— В Кёнигсберг, — сказала Марта. — А оттуда на поезде. Далеко. К морю.

— А дядя Отто?

— И дядя Отто.

— А солдат?

Марта помолчала.

— И солдат, — сказала она. — Бери свою лошадку. Пора.

Глава 6. Обоз

Бумагу Фальке выписал за кухонным столом, на бланке дистанции, перьевой ручкой, не отрываясь, без единой пометки. Потом достал из ящика стола штамп — деревянный, с резиновой подошвой, — подышал на него, прижал к подушечке и поставил оттиск в левом нижнем углу. Подул. Подписал. Протянул Лукину.

Лукин прочитал. Канцелярский немецкий, сухой, как сено: «...прикомандирован... для сопровождения и охраны служебной документации Рейхсбана при эвакуации... всем постам оказывать содействие... обер-инспектор службы пути Фальке». Орёл со свастикой в круге штампа вышел чуть смазанным, и Лукин подумал, что это хорошо: настоящие штампы всегда смазаны.

— Документация, — сказал он.

— Документация, — согласился Фальке и надел шляпу.

У ратуши в восемь утра не было никакого обоза. Были сани, фуры, телеги, тачки, детские коляски, нагруженные узлами, и люди — человек двести, может, больше, — которые стояли на площади, переминаясь в снегу, и ждали, сами не зная чего. Мороз ослаб, небо затянуло низкими облаками цвета мыльной воды, и в воздухе висела сырая, тяжёлая тишина, какая бывает перед снегом. Лошади фыркали, выпуская пар. Кто-то плакал — ребёнок, где-то в середине площади, монотонно, без передышки. Кто-то кричал на кого-то из-за места.

Обоз должен был выйти в восемь. Он вышел в десять. Два часа ушло на то, чтобы кто-нибудь решил, кто идёт первым. Сначала решал старик с повязкой фольксштурма, тот, седой, с медалью за ту войну, — он ходил между телегами, размахивая руками, и все его слушали и никто не слушался. Потом из ратуши вышел человек в коричневой форме, в фуражке с высокой тульёй, с кобурой на животе, — ортсгруппенляйтер, сказала фрау Брандт, сжав губы, — и все замолчали. Он поднялся на ступеньки ратуши, оглядел площадь и произнёс речь. Речь была короткая. Он сказал, что эвакуация — временная мера, что германский солдат остановит врага, что все вернутся домой через месяц и что паникёры будут наказаны. Потом спустился со ступенек, сел в чёрный «Опель», стоявший у ратуши с заведённым мотором, и уехал. На север. Первым. В «Опеле», на заднем сиденье, Лукин успел заметить два чемодана, свёрнутый ковёр и клетку с канарейкой.

Площадь смотрела «Опель» вслед. Никто ничего не сказал. Потом старик с медалью снова стал размахивать руками, и на этот раз его послушались.

* * *

Фальке достал в депо сани и лошадь. Лошадь была старая, мерин, серый в яблоках, с отвисшей губой и мохнатыми ногами, звали его Бруно, и до войны он таскал по путям ваго-нетки с балластом, а потом стоял в депо, и его не забрали в армию по старости. Сани были грузовые, низкие, широкие, с дощатым дном и невысокими бортиками. На них уложили узлы — фрау Брандт, Фальке, Лизин маленький чемоданчик — и две перины, и сверху посадили Лизу. Лиза сидела, закутанная по самые глаза, держа на коленях Трудю и деревянную лошадку, и смотрела на площадь.

Лукин шёл рядом с санями. Вожжи держал Фальке — сидя на передке, сгорбившись, в пальто и шляпе, с портфелем под боком. Фрау Брандт шла с другой стороны, держась рукой за борт. Ехать она отказалась наотрез: «Я ещё не настолько стара, чтобы меня везли, как мешок».

Впереди них, в обозе, шла фура с напольными часами — та самая, с перинами и швейной машинкой «Зингер», с женщиной и девочкой-подростком. Часы стояли в фуре торчком,

обложенные подушками, и раскачивались на ухабах, и маятник внутри стучал о стекло: дзинь, дзинь. Позади тянулась телега фрау Ланг. Фрау Ланг увидела Лукина ещё на площади и помачала ему рукой в мужской рукавице, и крикнула: «А, господин университет!» — и Лукин козырнул ей. Теперь она ехала сзади, правая сама, рядом сидел старик в пенсне, тот самый, из очереди, а в телеге, на мешках, — трое детей, мал мала меньше, и коза, привязанная за рога.

Обоз вытянулся из города по Банхофштрассе, мимо вокзала с остановившимися часами, мимо закрытой пекарни, мимо дома часовщика с закрашенной вывеской. Лукин оглянулся только раз, у последнего поворота. Город лежал в низине, тихий, с дымком из нескольких труб: кто-то остался. Кирха. Ратуша. За ними — мост, три серых пролёта над речкой. Отсюда мост казался игрушечным, вырезанным из жести.

Фальке тоже оглянулся. Он смотрел на мост долго, пока дорога не повернула в лес.

* * *

Шли медленно. Медленнее, чем Лукин думал, медленнее, чем он мог себе представить. Обоз растянулся на километр, на два, и голова его то и дело останавливалась — то у одной телеги ломалась ось, то лошадь падала на колени и её поднимали всем миром, то кто-то просто вставал посреди дороги, потому что не мог дальше, — и тогда останавливались все, и ждали, и потом снова двигались, рывками, как гусеница. Дорога была узкая, обсаженная липами, как та, на юге, по которой Лукин шёл три дня назад. Снег на ней был размешан колёсами в бурю кашу, и каша замерзала, и сани то скользили, то вязли.

Через час они догнали тех, кто вышел раньше. Через два — обогнали первую брошенную телегу. Она стояла на обочине, накренившись, с отвалившимся колесом, и на ней был сундук — большой, окованный железом, — и детская коляска, и швейная машинка, и ещё что-то, укрытое ковром. Людей рядом не было. Лошади — тоже. Её, наверное, выпрягли и увели, или она пала, и её оттащили в сторону. Сундук стоял на телеге, как памятник.

— Видите? — сказал Фальке, кивнув на телегу. — Это и есть эвакуация. Не то, что пишут в приказах. Вот это.

Лукин ничего не ответил. Он думал о том, что видел позавчера, у дома часовщика: о напольных часах, о девочке, споткнувшейся на крыльце. Он не стал смотреть на фуру впереди.

В полдень остановились на привал — не по приказу, а потому что голова обоза уткнулась в мост через какую-то речку, узкий, деревянный, и на мосту застряла фура, и её стали разгружать, чтобы протаскать. Фрау Брандт достала из узла хлеб и сало. Фальке сошёл с передка, разминая ноги, кряхтя. Лиза сидела на санях, не шевелясь, как кукла.

Фрау Брандт отрезала хлеб, положила на него сало, отдала первый кусок Лизе. Лиза взяла его обеими руками в варежках.

И тогда фрау Брандт сказала, громко, так, что было слышно на соседних телегах:

— Лиза. А молиться?

Лиза посмотрела на неё. Потом — на Фальке. Фальке стоял у морды Бруно, поправлял ему уздечку и не оборачивался.

Лиза положила хлеб на колени. Сложила руки в варежках перед грудью, ладонь к ладони, как складывают дети на картинках. Опустила голову. И тонким, старательным голосом, отчётливо, проговорила:

— Приди, Господи Иисусе, будь нашим гостем, и благослови то, что Ты нам дал. Аминь.

— Аминь, — сказала фрау Брандт.

— Аминь, — сказала фрау Ланг с соседней телеги и перекрестилась, хотя была, судя по всему, лютеранкой и креститься ей было не положено.

Лиза взяла хлеб и стала есть.

Лукин стоял у саней со своим куском и смотрел на неё. Он видел немецкого ребёнка, который молится перед едой, как молятся все немецкие дети. Так, наверное, молилась и девочка из брошенного дома за кирхой, та, что писала диктант. Так молились и дети, которых он видел мёртвыми на хуторах. Обычная молитва. Обычный ребёнок. Ничего особенного. Только одно его чуть царапнуло, как заноза под ногтем: фрау Брандт сказала это слишком громко. Будто не для Лизы, а для кого-то другого. И Фальке слишком долго поправлял уздечку.

Он откусил хлеб. Сало было жёлтое, старое, с привкусом. Он забыл о занозе.

* * *

За мостом через речку дорога снова пошла лесом. Здесь, на опушке, на обочине, лежала лошадь — гнедая, крупная, с белой звёздочкой на лбу, — и вокруг неё стояли люди. Лошадь пала, видимо, утром: снег на ней ещё не намело. Две женщины и старик резали её. Старик — топором, женщины — кухонными ножами. Работали быстро, молча, не поднимая голов, и снег вокруг был красным, и пар поднимался от вскрытого бока. Одна женщина отрезала кусок, завернула его в фартук и понесла к своей телеге, держа на вытянутых руках, как держат таз с бельём.

Обоз шёл мимо. Никто не останавливался. Никто не отворачивался.

Лукин отвернулся — не сам, а повернул за плечо Лизу, которая сидела на санях и смотрела на лошадь. Он сделал это не думая, как сделал бы с любым ребёнком. Лиза послушно повернула голову, но через секунду снова посмотрела назад — через его руку, через плечо.

— Её съедят? — спросила она.

— Да.

— А ей не больно?

— Нет. Она уже умерла.

Лиза подумала.

— Тогда хорошо, — сказала она. — Тогда пусть.

Она отвернулась сама и стала смотреть на дорогу впереди. Лукин убрал руку с её плеча. Некоторое время они ехали молча, и он шёл рядом с санями, держась за борт, и сани скрипели.

— А у вас есть дети? — спросила Лиза, не глядя на него.

— Нет.

— А жена?

Он помолчал.

— Была.

— Она умерла?

— Да.

Лиза кивнула, будто он подтвердил то, что она и так знала.

— Мои мама и папа умерли от дифтерии, — сказала она. — Оба. Одной зимой. В Мемеле. Мне было шесть лет. Дядя Отто забрал меня к себе.

Она сказала это ровно, без запинки, не меняя голоса, — так, как отвечают выученный урок, когда учитель вызывает к доске. Таблица умножения. Стихотворение про лесного царя. Лукин двенадцать лет слушал, как дети отвечают уроки, — сначала в Починке, ещё студентом на практике, потом своих, — и узнал эту интонацию сразу. Так не рассказывают про маму и папу. Так рассказывают то, что велено помнить.

Он посмотрел на Фальке. Фальке сидел на передке, держал вожжи и смотрел на круп Бруно. Спина его была прямая и неподвижная. Слишком прямая.

— Мне жаль, — сказал Лукин Лизе.

— Мне тоже было жаль, — сказала Лиза. — Раньше. Теперь уже не жаль. Теперь я привыкла.

Она прижала к себе Трудю и больше ничего не сказала. Лукин подумал, что дети, наверное, вот так и привыкают: учат наизусть, чтобы не помнить. Он тоже знал наизусть одно письмо. Он подумал так и перестал думать об этом, потому что дорога пошла вверх, и Бруно начал оскальзываться, и надо было толкать сани.

* * *

После полудня дорога вышла из леса на открытое место — поле, длинное, пологое, поднимающееся к горизонту, где темнела деревня с кирхой. Ветер, которого в лесу не было, ударил сбоку, с запада, и сразу стало холоднее. Небо опустилось ниже. Первые снежинки — сухие, мелкие, колючие — понеслись над полем почти горизонтально, как песок.

— Будет метель, — сказал Фальке, глядя на небо. — К вечеру. Может, раньше.

— Плохо, — сказал Лукин.

— Это смотря для кого.

Колонну Лукин увидел первым. Она шла навстречу — с севера, со стороны деревни на горизонте, — по той же дороге, и сначала это были просто тёмные точки на белом, потом точки стали пятнами, потом пятна — машинами. Два грузовика с брезентом и впереди — вездеход, низкий, угловатый, похожий на корыто на колёсах. Шли быстро. Обоз впереди начал жаться к обочине, сворачивать, вязнуть в снегу, — машины не сбавляли хода, и людям приходилось уступать.

Когда вездеход подошёл ближе, Лукин увидел на его борту знак: две молнии. И на людях в кузове грузовиков — каски, белые маскхалаты, автоматы.

Он повернулся к саням.

— Фальке.

Фальке уже смотрел туда же. Лицо его не изменилось, но он медленно, очень медленно опустил вожжи на колени.

— Майзель, — сказал он тихо. — Это Майзель. Раньше, чем я думал.

Вездеход догнал голову обоза и остановился. Грузовики — за ним. Из вездехода выпрыгнул человек и пошёл к первой телеге — к той, где сидел старик с медалью. Человек был в белом маскхалате поверх формы, без каски, в фуражке с черепом на околыше. Высокий, прямой, молодой. Он что-то спросил у старика. Старик ответил, разводя руками. Человек кивнул и пошёл вдоль обоза — сюда, назад, медленно, заглядывая в каждую телегу.

Фальке сидел неподвижно.

— Он вас знает в лицо? — спросил Лукин.

— Мы ужинали вместе в ноябре, в Кёнигсберге. На совещании у инженер-генерала. Он сидел через стол. Он спросил меня, что я думаю о Канте. Я сказал. Ему не понравилось.

— Под перины. Быстро.

Фальке посмотрел на него. На секунду в глазах мелькнуло что-то — не страх, а скорее удивление, будто он не ожидал, что Лукин будет его прятать. Будто думал, что Лукин сейчас, наоборот, поднимет руку и крикнет: «Вот он!» И это было бы проще всего. И Лукин понял это в ту же секунду, что и Фальке. Майзель забрал бы Фальке. Фальке уехал бы с Майзелем в Кёнигсберг. Двадцать три моста — тоже. А Лукин остался бы здесь, посреди поля, с бумагой со штампом и без головы, за которой пришёл.

— Быстро, — повторил Лукин.

Фальке сполз с передка. Фрау Брандт уже сдёргивала с саней перины — молча, сноровисто, как будто делала это каждый день. Фальке лёг на дно саней, на доски, между узлами, — длинный, неловкий, поджав ноги, — и фрау Брандт накрыла его периной, потом второй, и

подоткнула края, и бросила сверху Лизин чемоданчик. Лукин снял Лизу с саней — она была лёгкая, как кошка, и не сопротивлялась, только крепче прижала к себе Труди, — и посадил её обратно, на перины, сверху, туда, где под ними была спина Фальке.

— Сиди, — сказал он ей. — Сиди и не двигайся. Что бы ни было. Ты поняла?

Лиза смотрела на него. Глаза её были огромные, но в них не было слёз.

— Поняла, — сказала она. — Я умею сидеть тихо. Я долго умею.

Лукин взял вожжи. Портфель Фальке, оставшийся на передке, он сунул под себя.

* * *

Майзель шёл вдоль обоза. Снег усиливался. Ветер нёс его теперь сплошной пеленой, и сквозь эту пелену Лукин видел, как белая фигура останавливается у каждой телеги, наклоняется, заглядывает в лица. Иногда что-то спрашивает. Иногда откидывает рукой край одеяла или брезента. За ним шли двое солдат с автоматами.

Фура с напольными часами. Майзель остановился. Заглянул. Женщина что-то говорила ему, быстро, испуганно. Майзель слушал. Потом протянул руку и постучал костяшкой пальца по стеклу часов. Дзинь. Сказал что-то. Женщина закивала. Майзель пошёл дальше.

Теперь он был в десяти шагах. Лукин видел его лицо. Молодое, лет двадцать пять, может, двадцать шесть. Красивое — по-немецки, по-плакатному: прямой нос, твёрдый подбородок, светлые брови. Через левую бровь, наискось, шёл шрам — белый, гладкий, старый, — и бровь от этого была как будто надломлена посередине. Глаза светлые, спокойные. Внимательные. Не злые. Именно это поразило Лукина больше всего: глаза не были злыми. Так смотрит хороший учитель на класс перед контрольной.

Пять шагов.

Лукин сидел на передке саней, с вожжами в руках, в шинели Штайнера, в каске. Правая рука лежала на колене, в сантиметре от кобуры. Он думал: если Майзель полезет в сани — стрелять. Сначала в Майзеля, потом в того, что справа. Тот, что слева, успеет. Значит, смерть. Он думал об этом спокойно, как думают о задаче с одним решением. Он считал шаги Майзеля.

Четыре. Три.

Майзель остановился у саней. Посмотрел на Лукина. На его нашивки. На лицо.

— Унтер-офицер, — сказал он. Голос был ровный, приятный, с лёгким саксонским выговором. — Вы при обозе?

— Так точно.

— Какая часть?

— Сопровождаю гражданских, господин унтерштурмфюрер. Приказ коменданта.

Это была ложь, которую Лукин не готовил. Она пришла сама. Бумага Фальке лежала у него в нагрудном кармане, под шинелью, и бумага эта говорила: «прикомандирован к обер-инспектору Фальке». Показать её — значило сказать: Фальке здесь.

Майзель кивнул. Он не спросил бумагу. Он смотрел на Лизу.

Лиза сидела на перинах. Неподвижно. Прижав к себе Труди и деревянную лошадку. Закутанная по самые глаза, так, что из-под шапки и платка видны были только глаза и переносица с тёмными бровями. Она смотрела на Майзеля, и Лукин видел, что она не моргает.

— Твоя дочь? — спросил Майзель у Лукина.

— Нет. — Лукин кивнул на фрау Брандт. — Её внучка.

Фрау Брандт стояла у саней, держась за бортик. Она не шевелилась. Её лицо, красное от ветра, было неподвижным, как у статуи в кирхе.

— Внучка, — сказал Майзель. Он наклонился к Лизе. Лицо его стало мягче — совсем чуть-чуть, как у человека, который вспомнил что-то из детства. — Как тебя зовут?

Лиза молчала.

— Не бойся. Как тебя зовут?

— Лиза, — сказала Лиза из-под платка.

— А куклу?

— Труди.

— Труди, — повторил Майзель и улыбнулся. Улыбка была хорошая, открытая, совсем мальчишеская. — У моей сестры была кукла Труди. — Он выпрямился и посмотрел на фрау Брандт. — Вы из Вальдхайма?

— Из Вальдхайма.

— Вы знаете обер-инспектора Фальке? Отто Фальке, путейца?

Фрау Брандт медленно кивнула.

— Знаю. Кто ж его не знает.

— Где он?

— А я почём знаю. — Она пожала плечами — тяжело, всем телом. — Вчера, говорят, на мосту был. Сегодня не видела. Он такой — то здесь, то там. Может, в депо. Может, на мосту. Может, уехал куда. Он мне не докладывает.

— У него девочка. Племянница.

— Девочка, — сказала фрау Брандт. — Была девочка. Я не видела сегодня.

Майзель смотрел на неё. Потом на Лизу. Потом на сани — на перины, на узлы, на чемоданчик. Лукин видел, как его взгляд задерживается на перинах. На том, как они лежат. На длине. Перины лежали горбом — длинным, неровным горбом, от передка почти до задка. Две перины. Так можно уложить две перины, если торопиться. А можно — если под ними что-то есть.

Майзель повернулся к солдату справа и коротко кивнул на сани.

Солдат шагнул вперёд и протянул руку к краю перины.

И в эту секунду пришла метель.

Она пришла не постепенно, как приходят метели в книгах, а сразу, одним ударом, будто кто-то наверху опрокинул мешок. Ветер, который до этого нёс снег косо, вдруг развернулся и ударил в лицо — горстью, лопатой, стеной. Мир исчез. Не стало ни поля, ни дороги, ни обоза, ни деревни на горизонте. Лукин не видел своей руки на вожжах. Он видел белое — сплошное, крутящееся, ревущее белое, и в этом белом где-то рядом, в шаге, может, в полушаге, — тёмный силуэт солдата, нагнувшегося к саням, прикрывающего лицо рукавом. Бруно заржал и рванулся. Сани дёрнулись вперёд, на полметра, и встали. Лиза качнулась на перинах и вцепилась в бортик.

— Унтерштурмфюрер! — крикнул кто-то, совсем близко. — Ничего не видно!

— Вижу, что ничего не видно! — Голос Майзеля, уже не ровный, сорванный ветром. — К машинам! Быстро! Нам надо к мосту до темноты!

— А здесь?

— Здесь пусто! Старик сказал — Фальке в депо! Вперёд!

Тёмный силуэт солдата выпрямился и отступил. Растворился. Через минуту — Лукин считал, но сбился — где-то впереди, в белом, заревел мотор, потом второй, третий. Звук прошёл мимо — совсем рядом, вплотную, так, что Лукин почувствовал запах выхлопа, — и ушёл назад, на юг, в сторону Вальдхайма, и затих.

Метель ревела. Лукин сидел на передке, вцепившись в вожжи, и не мог разжать пальцы.

Потом он почувствовал, как кто-то трогает его за рукав. Он повернул голову. Фрау Брандт стояла рядом, вся белая, с белыми бровями, с белым платком. Она что-то говорила, но ветер уносил слова. Он нагнулся.

— Уехали? — крикнула она ему в ухо.

— Уехали.

Она закрыла глаза. Постояла так. Губы её шевелились. Лукин не слышал, что она говорит. Он знал, что она молится.

* * *

Фальке вылез из-под перин только через полчаса, когда обоз, ощупью, вслепую, держась каждый за хвост переднего, дотащился до первых домов деревни на горизонте и встал под защитой какого-то длинного каменного сарая. Метель не утихала, но здесь, у стены, можно было стоять, можно было видеть на три шага вокруг, можно было говорить.

Фальке сел в сани. Перины свалились с него. Лицо у него было серое, мокрое, очки запотели, шляпа съехала набок. Он снял очки, протёр их, надел. Посмотрел на Лизу. Лиза сидела там же, где её посадили. Она не сдвинулась ни на сантиметр за всё это время.

— Ты молодец, — сказал ей Фальке.

— Я умею сидеть тихо, — сказала Лиза. — Ты же знаешь. Я долго умею.

Фальке ничего не ответил. Он протянул руку и поправил ей платок — на секунду, неловко, — и убрал руку.

Потом посмотрел на Лукина.

— Вы могли меня отдать, — сказал он. Негромко, только для него.

— Мог.

— Почему не отдали?

Лукин пожал плечами.

— У вас моя документация, — сказал он.

Фальке смотрел на него долго. Потом коротко, хрипло засмеялся — один раз, будто кашлянул.

— Документация, — сказал он. — Конечно.

Фрау Брандт достала из узла флягу — у неё, оказывается, тоже была фляга, маленькая, плоская, в кожаном чехле, Вильгельмова, — и пустила по кругу. Там было что-то сладкое и крепкое, вишнёвое. Лукин сделал глоток. Он не стал занюхивать рукавом. Он подумал об этом, когда плотал, и не стал, и почувствовал, что Фальке это заметил.

* * *

Взрыв они услышали через час, когда метель начала стихать.

Сначала это был не звук — толчок. Земля под ногами вздрогнула, едва-едва, как вздрагивает пол в доме, когда внизу хлопнули дверью. Бруно поднял голову и запрядал ушами. Лошади у соседних телег — тоже. Потом, через несколько секунд, пришёл и звук — глухой, тяжёлый, долгий, перекатывающийся, как гром, только снизу, с юга, оттуда, откуда они пришли.

Люди у сарая замолчали. Все — сразу. Даже ребёнок, который плакал с утра, замолчал.

Фальке встал в сани.

Он встал во весь рост, держась за бортик, — длинный, сутулый, в чёрном пальто с бархатным воротником, со шляпой в руке, — и смотрел на юг. Метель стихала, и сквозь редящий снег уже можно было различить поле, по которому они шли, и лес за полем, и над лесом, далеко, — там, где лежал в низине Вальдхайм, — поднималось облако. Чёрное, клубящееся, медленное. Оно росло, расплывалось по низкому небу, и ветер сносил его на восток.

— Мост, — сказала фрау Брандт.

Фальке не ответил. Он смотрел. Губы у него шевелились. Лукин видел, как шевелятся его губы, и не сразу понял, что Фальке считает. Шёпотом. Будто считает пролёты. Или секунды. Или что-то ещё, что знал только он.

Потом Фальке перестал шевелить губами.

— Он не знал, где правый заряд, — сказал он. Голос был ровный, инженерный, будто он докладывал на совещании. — Правый бык. Там у меня было две камеры, не одна. Вторая — пониже, под водой, у ледореза. Без схемы он взорвал только верхнюю. Средний пролёт упал. Крайние — нет. Правый бык устоит, я думаю. Его можно будет восстановить. За месяц. Может, за два. — Он помолчал. — Если будет кому.

Он надел шляпу. Сел обратно на передок. Взял у Лукина вожжи.

— Двадцать два, — сказал он.

— Что?

— Было двадцать три моста. Теперь двадцать два. — Он посмотрел на Лукина поверх очков. — Это ваша документация, унтер-офицер. Она тает. Нам надо спешить.

Он дёрнул вожжи, и Бруно, вздохнув, тронулся с места.

Глава 7. Мальчик с фаустпатроном

Фальке разбудил его затемно, тронув за плечо.

— Мы уходим, — сказал он. — Сейчас. Пока обоз спит.

Лукин сел. Он спал в сарае на соломе, в шинели, между Бруно и чужой коровой, которая всю ночь вздыхала и жевала, и от коровы шло тепло, как от печки. Фрау Брандт и Лиза ночевали в доме, у хозяйки, которая пустила к себе столько беженцев, сколько поместилось на полу, — человек двадцать, — и ещё ходила между ними с кастрюлей горячей воды. Фальке спал там же, сидя, у стены.

— Почему? — спросил Лукин.

—

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.